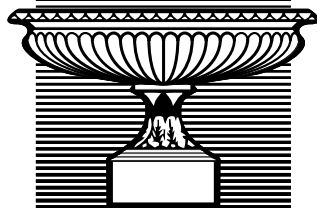


# АЛТАЙ

2/2019



Электронная библиотека АКУНБ, elib.akunb.ru

Андрей Машанов



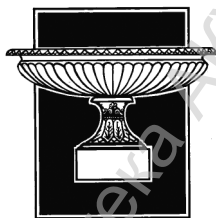
**Андрей Машанов**  
**Вдохновение. 2001**

Бумага, офорт, акварель, золото. 25x30

*Заслуженный художник РФ Андрей Машанов (г. Омск) возглавил жюри IX Межрегиональной молодежной художественной выставки «Аз. Арт. Сибирь — 2019», которая проходила в Барнауле с 15 марта по 15 апреля. По традиции, предусмотренной биеннале, председатель конкурсной комиссии выступает с персональной выставкой. Андрей Николаевич представил экспозицию «Тихая мелодия счастья»*

Издается с 1947 г.

# А Л Т А И



МАЙ

2/2019

*литературно-художественный  
публицистический  
культурно-просветительский  
журнал*

16+

**ЖУРНАЛ «АЛТАЙ»**  
**№ 2, 2019**

*Редакционный совет:*

Безрукова Е. Е. (председатель совета)  
Вигандт Л. А. (главный редактор)  
Габдраупова Ф. А. (Барнаул)  
Жданов И. Ф. (Барнаул; п. Симеиз, Крым)  
Кирилин А. В. (Барнаул)  
Клишина Е. М. (Барнаул)  
Колокольников С. В. (Барнаул)  
Котеленец В. С. (Барнаул)  
Кудимова М. В. (Москва)  
Куницын В. Г. (Москва)  
Курбатов В. Я. (Псков)  
Мордвинов В. В. (Барнаул)  
Нифонтова Ю. А. (Барнаул)  
Пономарёв П. В. (выпускающий редактор)  
Чернышков Д. В. (Бийск)

*Учредитель журнала:*

Краевое государственное  
бюджетное учреждение  
«Алтайская краевая  
универсальная научная  
библиотека  
имени В. Я. Шишкова»

*Адрес редакции и издателя:*

656038, Алтайский край,  
г. Барнаул,  
ул. Молодежная, д. 5,  
тел.: (3852) 506-628,  
e-mail: altai-journal@mail.ru

*Верстка:*

Четырин А. М.

*Корректор:*

Берглизова Т. П.

*Оформление обложки:*

**Александр Кальмуцкий**

Издание зарегистрировано в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ22–00569 от 22 сентября 2015 года.

Тираж 1600 экземпляров. Дата выхода в свет: 25.05.2019. Распространяется бесплатно.

Адрес типографии: ООО «МИР», 394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119 А, литер А, офис 215, тел.: +7(958) 649-53-31, e-mail: 89586495331@mail.ru.

*Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.*

*Рукописи не рецензируются и не возвращаются.*

*За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций.*

*Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.*

*При цитировании материалов без согласования с редакцией ссылка на журнал обязательна.*

# СОДЕРЖАНИЕ

## Поэзия

- Андрей Дмитриев.** 11 июля. «Куда ты ни приткнись — уже полно народу...». «Почти античная гора под Щебетовкой...». «Замедлен отсчет. Оклемаемся за год...». «Сулит продолжение лазейка в заборе...». «Страх и трепет в трехсложном размере...» ..... 27
- Александр Рудыка.** «И гложет и жжёт ежечасно...». К Шукшину. Два сна. «Сгорел деревенский юродивый...». Отрог. Прогулка. «Ложится в поле первый снег...». «На весну не надейся...». По закону любви. «Приснилось, как будто открылось...». «На грани...» ..... 49
- Марианна Дедерер.** «Освоить бисероплетение...». «По коридорам флейт...». «Что ты делаешь здесь?». «Привычным движением сердце ложится под нож...». «Без жалости прощается...». «Любовь его, как слеза — горька и необратима...». «Это всё шелуха, чепуха, омертвелая кожа...» ..... 55
- Константин Гришин.** «Я навещу тебя без повода...». «Я гуляю предзимним проспектом...». «На минувшей неделе...». «Не бойся холода и скуки...». «Уйти в свободное паденье...». «Осени меня крестным знамением...». «Семафоры, дорога простая...». «...Здесь метался в бреду Достоевский...». «Тисками сковано пространство...». «Не боги горшки обжигают...». «Мне пишет лишь пресс-служба министерства...». «Июльский туман по низинам...». «Опять зачистка Гудермеса...». «В нашем крае, аграрном и странном...». «Вокруг высотки, новостройки...». «У городской клинической больницы...». «Ритмы русские плещутся в сердце...». «Ты отличница и партизанка...». «До мечты — стены Поднебесной...». «Как это прекрасно и странно...» ..... 85

## Проза

- Михаил Павлов.** Травиночка. *Рассказ*.....5
- Галина Батюк.** Зима. Библиотека. *Рассказы*..... 37
- Виктор Теплицкий.** Поп. *Рассказ*..... 46
- Наталья Лясковская.** Николай Лесков. Жизнь честного человека. *Биография*..... 58
- Анатолий Кирилин.** Клубника пахнет солнцем. *Рассказ*..... 92

---

<b>Валерий Мозес.</b> Встреча с юностью, или Последняя «гастроль». <i>Рассказ</i> .....	108
<b>Сергей Круль.</b> Все васильки, васильки, сколько мелькает их в поле... Две бабушки. <i>Рассказы</i> .....	114
<b>Валерий Казаков.</b> Бухгалтер. Баня. <i>Рассказы</i> .....	139
<b>Николай Богормистов.</b> Бабочка. <i>Рассказ</i> .....	151

## Дебют

<b>Елена Усынина.</b> Как Игнат к ведьме ходил. <i>Сказка в стихах</i> .....	127
<b>Людмила Шишенина.</b> Из детства моего. «Заспорили два старика...». «Зима... Туман. Наохлились деревья...».....	166
<b>Лилия Войнова.</b> Март. Пунктир. Паяц. В заповеднике лета.....	170

## Литературные перекрестки

<b>Валентин Курбатов.</b> Возвращение.....	173
--	-----

## Шукшиниана

<b>Василий Авченко.</b> Загадки печек и лавочек, или Шукшин как айсберг и жанр.....	183
<b>Сергей Тепляков.</b> Та самая Майя Якутина.....	198

## Михаил Павлов

Родился в подмосковном Калининграде в 1959 году. После школы учился на режиссерском факультете во МГИКе. Окончил филологический факультет МГУ им. Ломоносова. Сфера научных интересов — лингвопоэтический анализ текстов. Работал редактором в различных московских изданиях. Ранее публиковался в журналах «Москва» (Москва), «Вертикаль» (Нижний Новгород).



## ТРАВИНОЧКА

*Выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный.  
Евангелие от Луки, 5:8*

### 1

Была у нас в Кутырьках Бабманя самогонщица.

Царство ей Небесное, хорошая самогонщица была!

В первый раз наведалься я к ней, когда родители усадили меня в мамину деревню на каникулы. Между седьмым и восьмым классом. Помню, помялся на крыльце, нервно сжимая в кулаке рубль, постучался. С крыльца, конечно, не спустила, но ответствовала достойно. Я все боялся, что маме передаст. Не передала.

Было ей тогда за пятьдесят. Худая, низенькая, шустрая, как лесной ручеек. Жила одна и замкнуто — у себя принимала неохотно и по гостям не разгуливала. И замуж не ходила. И детей Бог не дал. Все летала, как юница. Все молчком, все с улыбочкой

куда-то внутрь себя. Глаза светло-серые, невзрачные, как речной песок, а в глубине печаль омутная — стоит, леденеет.

Была она из травниц в каком-то там поколении. Мать ее лечила по окрестным деревням лучше всякого фельдшера. И мужики фронтовые, особенно вернувшиеся домой прямо с госпитальных постелей, рубили ей в благодарность новый двор. И сени с избой не раз и не два подновляли. Но сам я это, конечно, не видел, это из маминых рассказов. А к тому времени, как мы познакомились, здравоохранение поокрепло, а разнотравье поистощало. Да и пенсия у Бабмани бесколхозной копеечная была. Стала она самогон варить. Тем и жила.

Лет тридцать прошло, и уже после армии, перестройки и гайдара, после бесконечных дегустаций французского, чилийского и прочего, которые еженедельно проводились в зимнем саду церетелиевской Академии Художеств и на которых я по долгу службы изучал всякое послевкусие, в те уже времена, когда все коридоры в редакции были забиты коробками с бартерным кальвадосом и текилой, а в уютной нише рядом с кабинетом стояли понемножку опорожнявшиеся ящички с еще неизвестными на Руси кашасой и эпплджеком, в те времена купил я недостроенный дом в Кутырках и однажды снова наведался.

— Здравствуйте, — говорю. — Мужики березовские мне на днях крышу крыли. От лайма отказались, а текилу выпили и обругали. Сказали, только бабманина! Дайте мне, пожалуйста, бутылочку. На пробу.

— А тебе какой? От головы, от живота? Или просто для веселья?

— Мне, Бабмань, на пробу. Для всего. И для веселья, и чтоб утром ни голова, ни живот не болели.

— А-а-а... ну, это тебе облепиховую надо.

Вынесла полулитровую облепиховую.

— А я ведь помню, — сказала, — как ты еще с соплями неувертными рубль мне в карман халата совал...

И скидку сделала.

Облепиховая и вправду оказалась хороша. Покрепче водки была она у Бабмани. Так что, еще недоопрокинув стопарик, уже ощутил я в груди приятный и спокойный огонь. И до того чиста,



зараза! До того приятно растеклось по нёбу многослойное, похожее на ананас, послевкусие, что не захотелось мне пошлым соевым огурцом поганить букет облепиховый. И не стал я закусывать, а налил еще одну и послал вдогон. Какая сивуха? Да что вы, помилуйте — симфония серотонина... майский день... именины сердца!

И весь вечер было мне хорошо от бабманиной облепиховой. И к ночи еще раз сходил к ней. И наутро ничего не болело у меня.

Так мы и подружились.

С матушкой моей Степановной оказались они погодками, и до войны были неразлучны. Кое-что рассказала мне Бабманя о тех годах, и через эти рассказы лучше я стал понимать маму — ее загадочность, ее необоримую властность и такую же необоримую вечную грусть.

— Нюрка-та, мать твоя, — вспоминала Бабманя, — ох, дычи-во красивая в дефках была. Как скрыжапель созревшей! Я-та фсе в тяни ее, в тяни... Мы тады на пасиделки к Ворони ходили, пат берех. Так вокруг Нюркиной паневы аш с трех диривень шурани крутились. Прям крут стрибушка. Ой, и дралися за ее, и че тока ниче. А она никаму стакана не насытила. После войны уехала в Мытищу сваю...

В переводе с тамбовского на городской и унылый это означало, что мама в юности была красивой, как спелое яблочко. А Бабманя, с ней дружившая, была всегда в тени ее красоты, и никто на Бабманю внимания не обращал. И ходили они к речке Вороне, под берег — на пасиделки с молодыми ребятами. И ради мамы даже из дальних деревень парни сходились. И вокруг маминой юбки крутились эти «шурани», как бычок крутится вокруг колышка, к которому его привязывают в поле, чтоб не ушел и не заблудился. И дрались из-за нее, и много чего было. А мама так никому из них и не дала поцеловать себя за свадебным столом, а уехала после войны в Подмосковье — искать долю свою.

Будучи бездетной, Бабманя не церемонилась со мной, а любила и ругала, точно, как мама. Что такое пустая голова и голова бестолковая, мне было понятно сразу, но почему иной раз называла она меня головой «садовой», и сейчас понять не могу. Я тоже имел язык скорый и насмешливый. Мы частенько поругивались,

и за нашими перепалками была надежно укрыта настоящая живая нежность.

Жила Бабманя до неприличного бедно для самогонщицы. Ходила в чем бог послал, питалась огородом, трапезничала алюминиевой ложкой с обливной тарелки. Одна и та же черная юбка до шиколоток, та же сиреневая, стираная-перестиранная кофта, и один и тот же платок — темный, в шерстяную клетку, который даже по летней жаре не снимала она. Монашка, да и только! Если нанимала кого, забор поправить или дрова поколоть, расплачивалась всегда деньгами — выносила труднику репешковую или розовую только в качестве бонуса. Говорила, спиртным за труд расплачиваться грешно, Бог накажет!

— Бабмань, и куда ты деньги देваешь? — спросил я ее однажды. — За день-то сколько раз к тебе постучат! А ты и платка нового не купишь. И все изо дня в день у тебя щи да картошка, картошка да щи.

— И-их, Миша, куриные твои мозги! — беззлобно до неправдоподобия отвечала она. — Где их взять-то, денег этих? Ты думаешь, раз бабка самогон варит, так серебром с золота кушать должна? Да ты посмотри, времена какие! При ельцане-то, что ни делает человек, рожь ли растит, дома ли строит, самогон варит или еще чего — если честно все делаешь, как для Бога, так едва концы с концами сведешь.

— Ой, Бабмань, не ври, — смеялся я. — Ты что, для Бога что ли самогонку варишь?

— А может, и для Бога, почему ты знаешь? Ты думаешь, что делов только — забражить да выгнать? А ты попробуй сырец-то очисти. Головы с хвостами от сердца отдели, попробуй. Да второй раз перегони. Да опять очисти. Чтоб как водичка родниковая была. Да созрева дождись. Да смешай друг с дружкой, как мать учила.

— В смысле, купаж, Бабмань?

— Купаж я твой не знаю, а вот буду выгонять на днях, поставлю рядом. Покрутишься целый день, тогда и поймешь. Опять же трава. Поля не пашут, луга катеджею застроили. А крымская травка или алтайская... ага, поезжай бабка... собирай.

И объяснила она мне в тот раз всю свою экономику — и про расход материалов, и про период оборачиваемости средств, и про маржу, и про совесть. И полюбил я ее с того разговора еще больше!

Один день, и вправду, покрутился я возле этих жбанов да кегов. И все в бабманином производстве доводило меня до бешенства. Особенно то, как медленно на тихом-тихом огне капает будущая облепиховая из прямоточника. А когда и накапает, то рано праздновать — очищать надо. А ту, что очищена, заново перегонять. И опять очищать. А потом разливать по банкам и траву топить. И сусло готовить, и освободившийся жбан мыть да заново забраживать. А Бабманя, как аптекарь, разбирала травку свою в углу, покрикивала на меня за неуклюжесть и посмеивалась. Ну и как, спросила под вечер. Да ну, тебя, Бабмань! Это ж сколько терпения надо! Ты — перфекционистка, с тобой с ума сойдешь...

Делала свое дело Бабманя под неусыпной опекой правоохранительных органов. Почасту можно было видеть припаркованную возле ее калитки «канарейку», желтый милицейский уазик — то наш, кутырский, то из Балыклея, а иногда даже инжавинский. Я поначалу думал, за данью приезжают, ан нет! Не только не обирали, но и бесплатно не одаривались. Платили, как все, утверждала Бабманя, и скидку милицейскую не брали. Из уважения, значит!

Незадолго до бабманиной смерти составился против нее подлый бодяжный пул. Были в нем несколько хозяев водочных ларьков по округе, но больше — ганьба и огуда, которая днем брала в ларьках левую водку, после девяти вечера распродала своим же соседям за две цены, а после полуночи и за три. Хочешь — бери, не хочешь — не бери: дело хозяйское. А летом девятости восьмого, как остался народ-богоносец с дулей в кармане да поужался малость, начали расти у них убытки из-за Бабмани. Потому что у нее круглосуточно цены дневные были. И продукт чистый. И под запись можно было взять. А иным, одиноким и со всем уж пропащим, бывало, отпускала Бабманя и бесплатно. Что бы, значит, до Бога быстрее доползли.

И вот прислали конкуренты представителя к бабке, жестко так припугнули: мол, распродай запасы и закрывай свой

спиртзавод! Если не перестанешь гнать или цены втрое не подымешь, обижайся, бабка, на одну себя. И дом попалят, и руки-ноги поломают, и много чего наобещали.

— Да как же подымать, — вскинулась Бабманя. — С весны за двадцать отдаю. Как же я шестьдесят просить буду?

— А как хочешь, так и проси, — рявкнул представитель и выходя хлопнул дверью поубедительней, так что ложки-поварешки бабманины разлетелись с полок по всему полу.

Через несколько дней остановился у калитки милицейский уазик. Это уже Юрка Рыбаков рассказывал, приходившийся мне каким-то там семиколенным свойственником, а в Кутырках в те годы участковым работавший. Захожу, говорит, сидит Бабманя на табуретке посреди кухни. Нахохлилась, руки на колени уронила, бахрому на платке теребит.

— Ты че, Бабмань? Че горюешь-то?

— А ниче! Поясница болит.

— А-а... это пройдет. Дай-ка мне парочку, — достает мятые бумажки. — Одну слабенюкую, розовую — для Наташки. И одну мне... Шалфейную, что ли.

— А нет больше. И не будет, — не пошевелясь, отрезала бабка.

— Как не будет? Ты че, Бабмань? Совсем плохая?

— А вот так. Не будет!

И рассказала участковому про визитера. А Юрка как-то взбодрился сразу, азартно потер ладони одна о другую, заторопился:

— Ты, Бабмань, не переживай и баклуши не бей. А вставай быстренько и забраживай по новой. Я с визитерами этими сам разберусь.

Наутро явился к бабке все тот же представитель и повинился. Мол, прости, бабка, погорячились мы. Ты уж гони, как гнала. Но цену-то хоть вдвое задери. И вообще, если надо чего, мы бабке одинокой всегда поможем. Бесплатно, только скажи.

Мигом догадавшись о причине, переменявшей настроение бодяжного пула, Бабманя чиниться не стала:

— А навозу бы машину надо. Огород совсем не родит, — невинно проулыбалась она.

Навоз привезли не мешкая, а цены остались те же.

## 2

С этим навозом я и возился по осени, растаскивал по огороду и перекапывал. Хорошо так копалось. Пришел засветло и до обеда на две сотки перелопатил. Именно в тот день и состоялся у нас с Бабманей разговор, который я и теперь помню почти дословно.

Позвала она обедать, встали за стол. Глядя куда-то в окно, пропела Бабманя «Отче наш», пригласила садиться.

— Давай плесну тебе, — говорит. — Новой совсем. Давно думала, нервные все какие-то, от нервов сварить надо. Ну, это аистник, конечно, сорочьи глазки, донника чуток.

А был август, двадцать седьмое. Покосился я в красный угол, подумал, что завтра Успение, литургия в семь утра. Помялся несколько, погонял в голове приятные мысли.

— Да нет, Бабмань. Потом продегустирую сорочьи глазки твои.

— Ну, как знаешь.

И вот тут, после первой смены блюд, нарезая ложкой гороховый кисель, я говорю ей:

— Хороший у тебя кисель, Бабмань, и сама ты человек хороший! Но одного не пойму я никак. Ты крещеная?

— А как же! Здесь, в Кутырках, и крещенная.

— Вот видишь, крещеная! И в Бога веришь! И молишься. И стол у тебя всегда постный. И в красном углу иконы — аккуратные, чистенькие, без паутины. Гирляндочка над ними опрятная, полотенчик, как вчера, отбеленный.

— Ну... и к чему ты клонишь? — настоженно склонила птичью свою головку.

— А к тому, что верующий ты человек, а сколько я тебя знаю, в церкви ни разу не видел. Это почему так?

— Ноги больные у меня, тяжело мне до церкви идти, — соврала она.

— Ну, да! В роще за Вороной по полдня ходишь, траву свою собираешь. А на другой конец деревни дойти — ноги у тебя больные. Чего ты врешь-то, Бабмань?

— Ты вот что... доедай да копать надо, — оборвала она. — Прицепился, как репей.

Но я не отцепился.

— Бабмань, ты не обижайся на меня! — сказал. — Мы же не первый год дружим и не первый раз я тебе копаю. И ты знаешь, что ни денег, ни самогонки не возьму. И ты ведь любишь меня... Любишь?

— Ну, люблю, люблю... дальше чего?

— А дальше мне, Бабмань, понять тебя надо. Для себя. Как так, в Бога верит человек, а в церковь не ходит?

Помолчала бабка моя дорогая, погоняла крошки хлебные во-круг тарелки, посмотрела речными своими глазами в честной угол, проронила:

— Нельзя мне, Миша, в церкву ходить. Как же я пойду? Христа позорить?

И не давая мне слова вставить, объяснила она себя — как-то грустно и безнадежно, как о деле, давно решенном. Я, говорит, грешница, как мне в церкви быть? Что-то люди подумают, юбку новую нацепила, явилась бесстыдная. Пред Христом красуется, свечки Ему ставит. Но мы-то знаем, откуда она деньгу на эти свечки берет. В церкву, Мишаня, добрые люди ходят, порядочные. Их Господь и ждет, им Он и рад. А я что? Темная бабка. Самогонщица. Дура, прости Господи, есуразная — вот и нельзя мне в церкву...

И какая-то большая обида, какая-то большая растерянность вдруг увлажнили бесцветные ее глаза, и, отирая их концом платка, наговорила она мне семь бочек арестантов. И о том, что молится она с закрытыми глазами, потому что страшно ей на Христа с Богородицей взирать. И про скорые языки баб, чьи мужья были ее «клиентами». И об одиночестве своем. О том, что даже мужика за всю жизнь не дал ей Господь попробовать. И что нет у нее никого, кроме меня да родной сестры, в какой-то там Геническ еще в юности умотавшей. Замуж за стройбатца — из тех, что от Красивки к нам дорогу тянули. И жизнь-то вся уже прожита, и ни на что не пригодилась бабка. И где он, Господь-то, где он все восемьдесят лет был?

И где надо было лишь приобнять за плечи да пожалеть, погладить по редковолосой головке, там вместо простого человеческого участия принял я ей Евангелие толковать. Да только

что человеку до умных и даже честных, и даже справедливых слов. Душа болит у него! Хочет он, чтоб не болела душа, а больше ничего ему и не надо. Со всем остальным он и сам справится. А словом — всегда ли, всякий ли лечится? Это я по себе помнил, как ненавистны мне были в новоначалии ледяные воды евангельских цитат, в коих топили меня с головой иные из самодовольных поборников православия. И однако, не выдержал я внезапной бабкиной откровенности и заговорил, как мог.

— Ты, Бабмань, все перепутала, все с ног на голову поставила! Вот «Отче наш» читаешь, а Евангелие не читаешь. А если б читала, то знала, для кого Христос приходил. Я, говорит, не ради здоровых, а для болящих. Не добрых и порядочных пришел я созвать, а чтобы грешники пришли ко мне. Понимаешь? Придите ко мне, сказал, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Со Мною, сказал, найдете покой душам вашим, а без Меня не найдете... Где семьдесят лет был? А ждал Он тебя все эти годы, а ты все на иконы жмурилась. Жмурилась-жмурилась, а до Него так ни разу и не дошла. Да и я... да и я через пень колоду. А Он же именно таких, как ты и я, ждет. Добрые и порядочные, Бабмань, их Он на второй раз позовет.

— Ну, это ты целую городушку нагородил! К чему ты это? — усомнилась она.

— А ничего я не городил. Так в Евангелии написано.

— Это где ж там написано?

— А у Матфея, в двенадцатой главе. Дай Евангелие, я тебе прочитаю.

— Нет у меня Евангелия.

— Ну, так ходила бы в храм. Там на Литургии вслух читают. И потом объясняют.

— Это я и без тебя знаю, что читают.

— Вот и хорошо, что знаешь. А апостола Петра ты знаешь?

— А как же! И Петра и Павла. Обоих знаю.

— Вот и научись от Петра! Он же сначала рассуждал, точно как ты. На озере Геннисаретском Христос к нему в лодку взошел, а он и говорит Христу: выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный. Не могу я, говорит, рядом с тобой стоять. Ужас меня объял, страшно мне подле тебя быть.

— А Христос что? — спросила недоуменно.

— А Христос не послушался Петра и не вышел из лодки. Сказал ему, ничего не бойся, Петр. Оставь рыбалку свою, бери товарищей и идите за Мной.

— А Петр что?

— А Петр послушался и пошел за Ним. А через три года Господь его оставил главным после себя и ключи от рая доверил. Ну, насчет ключей это фольклор, конечно, но неважно. Ты подумай, Бабмань! Когда Христос в Гефсимании просил Петра бодрствовать с Ним, потому что скорбел сильно, Петр взял и уснул. А перед этим сколько хорохорился: мол, Господи, я тебя люблю и никогда не оставлю, и пойду с тобой до конца. А дня не прошло, как он три раза Христа и предал. И Господь ему даже такое не вменил в вину. Потому что заранее знал — так и будет с петухами этими. А ты все за самогонку свою переживаешь! Вот ты-то, Бабмань, как раз и нагородила городушку в душе своей. А знаешь... знаешь, я давно об этом думаю: если б не твоя репешковая да облепиховая, от денатурата и левой водки давно бы уже все мужики в округе поперемерли.

И не нашлась Бабманя, чем ответить. Порывисто встала из-за стола, зажмурившись по своему обыкновению, перекрестилась на божницу, собрала грязную посуду. Пошла на кухню, вынесла чаю со смородиновым листом и ушла к себе. Заперлась. Кое-как, второпях, добил я огород. Думал, побыстрее бы — и в баню. Готовиться на завтра опять ночью придется. А Бабманя, как вышла проводить, протянула аж полсотню сизую.

— Ты чего, Бабмань? Мы же договаривались!

— Да я не о том... Ты в церкву завтра пойдешь ведь. Купи мне, Миша, Евангелие.

— Нет, давай вместе пойдём, сама и купишь.

— Вот же пустая твоя голова! Я тебе говорила уже, нельзя мне в церкву, — перечеркнула Бабманя все мое красноречие.

Евангелие я ей купил. Большое, с крупным шрифтом и золотым обрезаем. И часто видел потом, как лежит оно у нее — то под божницей, то на столе в кухне, то на терраске. То на Матфее раскрытое, то на Луке, на Деяниях.



В октябре вернулся я в Москву, зарабатывать на отделку нового дома. А по весне снова копали мы бабманин огород, картошку сажали, нарезали грядки под огурцы и кабачок. Бахчу готовили. И зачем-то пыталась она меня, далеко ли от нас до Геническа, поездом ли, самолетом, и сколько стоит. И еще оказала мне в ту весну особую честь — по осени прикопала черноплодку с калиной, а зимой снесла старый сарай. На майские праздники и черноплодку, и калину, и всю почти ягоду, что росла у нее, собственноручно перенесла Бабманя со своего участка на мой. А на месте сарая устроила мишанин клин. Это чтобы, значит, я помог ей вскопать и посадить, а потом уже не отвлекался от стройки на полив и прополку. А по осени урожай с этого клина с собой в Москву везти. Чудная! Попру я морковку со свеклой за пятьсот с лишним верст...

Господи, все в руке Твоей!

Не дожила Бабманя до урожая.

На последней седмице пред Петровым постом дошла, наконец, до Господа своего.

Дней за десять до того позвала к себе, посадила за стол. Помялась, попеняла с минуту на сухие погоды, плеснула облепиховой. И выложила на стол две стопочки денег, обвязанные чистыми тряпицами.

— Ты вот что, Мишаня! Как помру я...

— Бабмань, ты чего? Я что, душеприказчик тебе? Иди вон к батюшке, ему и наказывай. А я не люблю этих разговоров. Помирать она...

— Да помолчи ты, голова садовая, — оборвала, как могла резче. — Послушай старого человека! Как помру я, деньги эти, Миша, за божницей лежать будут. Вот это, — развязала одну тряпицу, — сестринь. И вот адрес я тут написала. Пошлешь телеграмму ей сразу, и напиши, что деньги на самолет передашь ей, в оба конца. А тут, — указала на вторую тряпицу, — гробовые. Обрядить, заупокойные и на поминки. Узелок смертный в комодке внизу лежит, — указала она на старый изъеденный древоточцем шкаф. — Пивное на стол в подполе найдешь. Крепкое направо от ледника, женское слева стоит. Ну, там разберетесь. Аппарат мой на печке...

— Бабмань, ну, чего ты, в самом деле! — отчаянно пытался я перебить. Отчаянно, потому что как-то тревожно уже, больно мне стало от этих распоряжений. Почувствовал я, что не зря затеяла она разговор, и восстало все во мне против ее приготовлений. — Ты клубнику мне обещала в августе пересадить, я и место приготовил...

— Господи, какой же ты поперечный! Дослушай бабку, потом-то не у кого спросить будет, — гнула она свое. — Аппарат мой на печке найдешь, и травы оставшиеся там же. Я надпишу все. Ты это хозяйство сразу заberi. Я тебе немножко показывала. Так что приладишься выгонять — выгоняй. Но только себе, без коммерции. Не приладишься — разбей, разломай, как хочешь. Но никому не отдавай аппарат, обещаешь?

— Ага! Обещаю. Пристроить твой аламбик в водочный музей в Черноголовке. Отдельную экспозицию открою: «Роль Бабмани в русском винокурении»... Можно?

— Ох, как же тяжело говорить с тобой! — не отступалась она, и едва не поругались мы в тот день. Но слово, что все назначенное будет исполнено, она из меня выудила.

И неделю почти ни свет ни заря бегал я к ней под всякими дурацкими предложениями. И с отцом Сергием переговорил. На всякий случай — как нам, если что, успеть исповедать и причастить ее. Батюшка, услышав о бабманиных приготовлениях, помрачнел, грустно покачал головой: нет, мол, не допустит она себя к причастию.

И вот, когда я уже успокоился, когда окончательно перестал придавать значение бабкиным словам, Колька Филатов, сосед мой, крикнул меня поутру через штакетник:

— Мишка, а где подруга твоя? Где Бабманя-то? Ночью ходил к ней, и сейчас вот стучал. Калитка же день и ночь нараспашку. А тут заперта, на ключ.

Сразу я все и понял. Бросил литовку, где стоял, добежал к ней, перелез через забор, поднялся задним крыльцом. Нет больше Бабмани моей. Только легкое ее, тонкое, как репешок, тело лежит на полу «лицом горé», рядом с аккуратно застеленной кроватью. Шага не дошла. И речные глаза ее, широко-широко распахнутые, с неземным изумлением смотрят в красный угол. Поднял я

травинку мою ненаглядную на кровать и закрыл ей глаза. Литию бы хотя мирскую... да нет и молитвослова в доме. А на память, разве за четыре раза выучишь литию?

Забрал, что наказала. Сбежал к себе. От порога к Юрке. Сели в канарейку, куда? Сначала за врачихой. Врачиха констатировала. Судя по внешним признакам, сердце. Просто остановилось. Вскрытие покажет. Не надо никакого вскрытия. Потом к батюшке, что он скажет. Батюшка как-то стремительно, как давно готовый, распорядился. Женщин, чтобы обрядить, сам пришлет. Нам к Наталье Николаевне захватить, пусть быстро певчих собирает и приходят. А за гробом-то, к Звягину, наверное. Деньги оставила или дать? Оставила. Ну, и ладно. И, не зайдя в домик причта, в чем был, в том и направился бегом в храм.

Никогда, никогда настолько не нужен человек человеку, как в эти первые дни, первые часы даже. Когда не стало человека, тогда ох как нужен ты ему. Потому что теперь ты и руки, и ноги, и сердце его. И если отныне разрешается он от немоты, то только твоими устами. И только в эти дни понимаешь, как на самом деле он дорог тебе — был ли, стал ли... И великая мудрость заключена в торопливой беготне, в нескончаемых этих хлопотах вокруг безучастного тела. Потому что некогда распузкаться и слезы сглотнуть некогда. Крутиться, крутиться надо. И только вечером третьего дня, проводив поминавших, перемыв посуду и натаскав ключевой воды, чтобы вослед ушедшему вымыть полы и крыльцо, вдруг посреди дела, посреди незавершенного какого-то жеста вдруг валит тебя на стул. И оглядев пустой дом удивленными глазами, ты вдруг понимаешь: нет человека твоего дорогого. И не будет уже. Никогда. Вот тут только и начинаешь сглатывать поздние слезы. Тут только и начинает тонуть сердце в непосильной земной жалости.

Так было всегда и так будет. Я уже знал это наверное, ибо для меня это были четвертые похороны, на которых пришлось не просто блины трескать, а именно крутиться, слаживать многоголосый, порою скандальный хор. Потому что, как правильно жить, никто из нас точно не знает, а вот как хоронить правильно — тут уж все знатоки.

3

Телеграмму в Геническ отправили, разрешение в сельсовете взяли, с Колькой Филатовым повздорили. Копать он сразу согласился, но брать плату наотрез отказался. Я, говорит, должен Бабмане. У меня под запись еще две поллитры стоит, как раз и получится.

— Коль, надо взять деньги, — сказал я ему. — Бабманя запретила спиртным расплачиваться. Она говорила, ни к чему ей лишние грехи. Ты уж уважь бабку.

— Слушай, пошел ты со своими грехами. Куда подальше! — отрезал он, пробуя ногтем большого пальца штык выбранной лопаты. — Сказал, не возьму, значит, не возьму. Не нравится — ищи других!

— Ну, хорошо. Ты не возьмешь, а помощникам? Один же не будешь копать?

— А чего там? Летом и одному делать нечего. На два штыка суглинок, потом песок пойдет. До обеда управлюсь.

Управились за два часа. Двенадцать человек копали Бабмане — по очереди, поровну, чтоб никому из мужиков обидно не было. Час копали, еще час сидели по краю ямы, наливали — вспоминали и поминали.

Всю первую ночь читали мы Псалтирь с тетей Машей Муравьевой. Попеременно, по две кафизмы. Она с больными своими ногами, сидя под ночником на бабманиной кровати, а я возле гроба, при свете крестообразно расставленных свечей.

И мало, скажу я вам, мало на свете такого, что люблю я так же очевидно и горько, как чтение Псалтири по усопшим. Дважды по молодости заглядывавший в лицо смерти, я давно не боюсь приобретенных ею бездыханных телес. Напротив, именно подле них, кажется мне, и собственная моя жизнь приобретает новую очевидность, новую подлинность всего сущего на земле. А кроме того, эта ночная Псалтирь, эта молитва об усопшем есть вместе и последняя моя возможность долюбить любимое, договорить недосказанное, домирился, дообъясниться.

И каждый раз в такие ночи бурное мое воображение, памятуя

о рассказанном блаженной Феодорой, почти физически видит, как борются за человеческую душу белые ангелы и черные эфиопы. Почти воочию вижу я золотые пояса на груди одних и грязные свитки в руках других. И тогда кажется мне, что я единственный, кто еще успевает вступить за честь и участь любимого человека. И что вот только от меня, от того, бубню ли я Псалтирь, втихую проклиная слипающиеся глаза, или, шепча «спаси, Господи, от кровожадных душу мою», в действительности не шепчу, а ору изо всех сил уродливым эфиопам: «Оставьте! Отцепитесь, не трогайте любимое мое...», может быть, только от того и зависит, качнутся ли весы, на которых трепещет родная душа, к небесам или замрут они, прикованные к земле. Может быть, только от того, насколько весома крупица любви, зароненная в мою душу уходящим, от того только и зависит будущая участь всех любимых мною. И потому так стремительно, так нестерпимо обжигающе льется из воскового сердца полуобморочная от усталости и недосыпа молитва.

Уже за полночь, где-то в середине дела, на десятой или двенадцатой кафизме, не выдержала тетя Маша, взмолилась певучим своим голоском:

— Миша-Миша, что ж ты орешь-то как оглашенный? Ты потише читай. Бабманю уже не подынешь, а я бы хоть вздремнула чуток.

Как обухом по голове.

— Теть Маш, прости. Я и не слышу себя. Да. Ты поспи, я шепотом...

И всю ночь сменяли мы друг друга в надежде отогнать от Бабмани вождедеющих ее эфиопов. Едва тетя Маша начинала свои кафизмы, я садился на приставленный стул и меня неумолимо одолевал сон. Под тихий, размеренный ее голосок я проваливался в горячую дремоту. Но стоило ей, поддавшись сну, прерваться, как внезапная тишина расталкивала меня. Я вскакивал, шел в кухню и, отпив ледяной воды, вновь принимался за дело.

Под утро уже, когда за окном начало светлеть, когда стало слышно мычание бредущих на выгон коров, сопровождаемое по деревне сочным матерком чабана, меня стало двое. Один

читал и читал Псалтирь, боясь прерваться хотя на мгновение. Другой же вдруг заговорил с Бабманей, будто и не уходила она никуда, а вот зашла с кухни и внесла смородиновый свой чайк.

— Ты уж, прости меня, Бабмань, — повинился я. — Что умудазуму тебя учил, сопляк дипломированный. Что соблазнил тебя на Господа своего роптать. Что не поверил приготовлениям твоим, а все косил да строгал, да маяки по стенам выставлял. Что за долгие эти десять дней ни разу не насиделся с тобой, не погладил реденьких волос на птичьей головке твоей, не наговорился с тобой, не наслушался вволю. И с деньгами твоими я теперь не знаю, что делать. И врачиха не взяла ничего, и Колька Филатов отказался. И даже дядя Саша Звягин, старый жмот. Мы с Юркой только ехали к нему, а он уже гроб к калитке выставил. Денег не взял, обматерил. Забирайте, говорит, скорее, мне в Инжавино давно надо, а я вас тут час дожидаясь. А ведь он у тебя под записью никогда не был. Сам гонит. И никто из труждающихся — ни копальщики, ни носильщики, ни певчие, ни блины пекущие — я уже точно знаю, никто не возьмет из твоих тряпиц за труды свои. Похоронишь ты себя, бабка, бесплатно. И вот морока мне теперь, куда деньги твои девать? Может, в храм пожертвовать?

— Сестре передашь, — раздался внутри меня отчетливый бабманин голос. И настолько ясным и очевидным было ее распоряжение, что я нисколько не удивился.

— С кем ты там разговариваешь? — спросила проснувшаяся тетя Маша.

— С Бабманей, — ответил я.

— А-а-а, это бывает. Давай, Миша, светает уже. Поспи чуток, я почитаю. Где остановились-то?

— Третьей кафизме конец. Двадцать третий псалом начинай. «Господня земля, и вся исполнения ея...»

— Как третьей, не путаешь?

— Не путаю, тетя Маш. По второму кругу идем.

— Ну, и слава Богу, — перекрестилась она и отлинула тетрадку свою назад. Ибо не первый десяток лет читала тетя Маша по усопшим, и с тех еще времен, когда печатные издания Псалтири были в диковинку, переписала она всю ее от руки — в три большие клеенчатые тетради. По ним и провожала уходящих.

Я вышел, умылся, вернувшись придвинул стул поближе ко гробу, закрыл глаза и снова позвал покойную.

— Бабмань, слышишь? Сестра твоя не прилетит. Сына, племянника твоего посылает. Телеграмма вот у меня. «Ноги не ходят, хороните без меня». Я деньги тогда племяннику передам, это понятно. А непонятно, что ты с церковью натемнила, Бабмань. Ты опять врала мне? Все уничижалась... что люди подумают... юбку новую нацепила... А вот и не сходится у тебя! Женщины, которых прислал отец Сергей прибирать тебя, все до одной из причта были. И даже сама матушка, супруга батюшкина, приходила с ними — два мешка крапивы тебе нарвала, самолично выполоскала, все руки изранила. Как так? И вот же, сам отец Сергей читал в храме последование и отошедшим без покаяния сам читал. Весь день из храма не выходил. И пели весь день Псалтирь. И поминальное сегодня будут готовить в домике причта. Ты же не церковная, Бабмань, а смотри... смотри, что делается... Как встал за тебя и батюшка, и весь причт его!

И мужики деревенские, в непомерном каком-то количестве весь день грудились возле двора. И маялись, как дети малые. И аж двенадцать копало тебе. А ведь самый покос, дел-то в деревне сколько! Как так, объясни мне? Ты все сокрушалась, что ни на что не пригодилась, что непонятно, зачем жила. А смотри, Бабмань... смотри, сколько любви оставила ты по себе! Не об иссякшей же самогонке слезы кутырские. Ну, уж у женщин-то точно не о ней. А если человек пробуждает хотя в единственном другом хотя толику любви, малую совсем горсточку на малое совсем время, как говорить... как же говорить, Бабмань, о бессмысленности прожитой им жизни?

И ничего не ответила мне Бабманя. А хлопнула дверь, и вошел Юрка. Пора, сказал, а то опоздаем. Надо в аэропорт ехать, бабманиного племянника встретить.

Вечером того же дня перенесли Бабманю в храм, поставили против царских врат, где и провела она последнюю земную ночь. И опять до утра читали над ней Псалтирь, а кто, я уж и не знаю. Вернувшись из Тамбова и поручив бабманиным соседкам племянника — весьма наглого и до неприличия веселого хохла лет

пятидесяти, — я вернулся к себе домой, налил полный стакан облепиховой, отломил горбуху позавчерашнего, еще при жизни Бабмани купленного хлеба. Выпил, пожевал всухую и рухнул на кушетку. До утра.

И не знал я еще, что пройдет двадцать лет почти, а я все буду любить, буду помнить тебя. И аламбик этот твой, дурацкий и громоздкий, буду таскать за собой с квартиры на квартиру, и с одной дачи на другую. И разбить его рука не поднимется! А травы, тобою надписанные, все изотрутся в пыль, развеются, обратятся в ничто. Потому что плохой из меня самогонщик, Бабмань. Не чета тебе!

Шла суббота пред Петровым постом, и первая Божественная Литургия, на которую привел Господь Бабманю, подходила к концу. К панихиде в храме набилось довольно народу, не только кутырских, но даже из Салтыков, из Березовки пришедших. И лежала она среди нас, и личико ее — прозрачное, как янтарный камешек, будто подсвеченное изнутри тихим светом — было спокойно и радостно. И не было в нем ни следа тлетворного, понимаете ли. Не было смерти-то во гробе этом, а только свет и покой. И это было тем более странно, что по моргам ее никто не таскал и формалином не накачивал, а только молодая крапива, заботливыми матушкиными руками выстеленная во гробе, хранила ее от распада в этот последний час. Отец Сергей, обычно лишь в конце отпевания обращавшийся к присутствующим с утешительным пастырским словом, вопреки обыкновению, этим словом панихиду и предварил.

— Сегодня мы прощаемся с рабой Божией Марией, — заговорил он, часто-часто моргая ресницами. — Вся жизнь ее прошла на наших глазах, все мы видели, как она живет. А что на душе у нее, никто не знал. И я тоже не знал! Потому что за те шесть лет, как освятили мы наш храм и возобновили служение в нем, ни разу не пришла она на исповедь, ни разу не открылась мне. Но я и без того всегда знал... — отец Сергей помолчал несколько, окинул взглядом прихожан. — Я знал, что едва ли среди нас, дорогие мои, найдется хоть один, кто сравнился бы с ней в смирении, в терпении, в имении страха Божия.



Батюшка перекрестился и долго-долго, молча смотрел на янтарное личико. И вслед за ним перекрестились и смотрели на Бабманю остальные.

— И не надо бы об этом вслух, — продолжил отец Сергей, — но я скажу вам. В назидание скажу. Последние пять лет почти, каждую пятницу, а вы знаете, дорогие мои, что каждую пятницу после вечерни мы читаем акафист иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша» и богослужение наше затягивается допоздна, каждую пятницу, если только не мороз и не болела она, каждую пятницу, схоронясь за кочегаркой, встречала меня Мария на дороге из храма в дом причта. И глаза к земле опустив, ни слова не говоря, передавала чистую тряпицу, в которую завернуты были недельные ее труды. И убегала сразу огородами. Задами убегала, чтобы никто из вас не увидел ее. И каждый раз пытался я заговорить с ней. И звал, и звал ее. Но не было мне, грешному, никакой возможности остановить ее. — И верхним краем золоченого креста произвольно и тщетно пытался отец Сергей прикрыть бежавшие по щекам слезы. И шмыгал носами весь приход, и племянник бабманин растерянно улыбался. И я растерянно пел бабке: так вот куда уходила маржа твоя, врунья бесстыдная!

— И все вы помните, дорогие мои, — продолжал батюшка, — с какой радостью, устраивали мы четыре года назад новую звонницу. Так вот, крайний колокол, пудовый, он полностью жертвой Марии приобретен. И сень наша над алтарем, почти заново резанная. Целый год в притворе стоял ящик для жертвы на сень, и каждую службу проходили вы мимо него. А сень-то вся тоже ее трудами устроена. И в этом уже году, месяца еще не прошло, вы помните, как мостили мы площадку перед храмом. Эти вот сто с лишним метров брусчатки, там, где раньше каждую осень месили мы грязь, эти метры тоже Мария под ноги нам постелила. И рабочие, которые мостили, целую неделю питались в нашей трапезной ее страхом Божиим. И многое еще за эти пять лет сделали мы благодаря Марии.

Да ведь не в деньгах дело, дорогие мои, не в деньгах! Не она, так другой кто помог бы нам. Мы молились с вами, и так или иначе услышал бы Господь и устроил нужды наши. А в том дело, братья и сестры, что мы прощаемся сегодня с человеком, на котором

сбылась первая заповедь блаженства, на котором сбылись и другие евангельские слова, которого правая рука не знала, что делает левая. И я прошу вас сейчас, братья и сестры, очень прошу вас! Давайте помолимся теперь о рабе Божией Марии со всяким усердием, на какое способны.

И плеснул с хоров, и поплыл над Бабманей девяностый псалом, заботливо покрывая ее от сети ловчи и от словесе мятежна, и от сряща, и от беса. А раба Божия лежала среди храма, и оттого ли, что огонек ближайшей лампы, пробежав по нестройным рядам, зажег разом столько свечей вокруг, от другого ли чего, но лицо ее как-то вдруг потемнело и постrojело. Будто силилась она, да не могла сказать: «Вот и батюшка тоже городушку нагородил... и к чему было?» А «Непорочны» все омывали и омывали неподвижное тело ее, как волны моря в безветрие аккуратно омыают мелкий камешек, схоронившийся за большим валуном. И «Самогласны» Иоанновы пеленали омытую новорожденную душу, как материнские руки пеленают драгоценное дитя свое. И в вышнем глазе хора все слышался мне голосок ее надежды, устремленный к алтарю: «Буди сердце мое непорочно во оправданиях Твоих, яко да не постыжуся».

И я молился вместе со всеми за душу бабманину, а думал о своем.

Боже мой, Боже! Почти два тысячелетия прошло с того дня, как Ты обещал обступившим Тебя в Капернауме, что всякого человека, верующего в Тебя, воскресишь в день последний. Но что мы пред очами Твоими, когда и тысяча лет Тебе, как день вчерашний, прошедший? Трава мы. Утром вырастаем и цветем, а к вечеру уже подсекаешь Ты нас, и засыхаем. Тьмы и тьмы травиночек безвестных срезал Ты за эти тысячелетия, тьмы и тьмы их запахал плут Господень «в землю туюжде». Что, кроме любви и памяти, можем мы противопоставить нетерпеливому ожиданию обетованного дня? И не есть ли воспоминание уже воскресение? А если есть, то в тот день, когда и меня запашешь Ты плугом своим, что тогда написано будет обо мне в смертных списках, и где обрящуся аз? Кто будет стоять подле меня в такой же точно час? Кто вспомнит, кто воскресит меня?

И стало мне страшно. И память торопливо выкладывала предо мной мои добрые дела. Было их много, и лежали они одно к одному, все аккуратно и красиво упакованные. Как конфетки коркуновские. Все одинаково приятные на вид, все до одного принесшие мне заслуженное уважение, а отчасти даже и славу среди знавших меня людей. И правая рука моя сердечно пожимала левую, и левая отвечала ей взаимностью.

Шло к концу уже. Последний пред прощанием возглас коснулся бабманиного слуха. В последний раз обратилась она к нам со своей по-тамбовски напевной просьбой: «Видя меня, лежащей безгласно и бездыханно, восплачьте обо мне, братья и друзья, сродники и знакомые. Еще вчера говорила я с вами, и вот нашла на меня смерть. Но вы, любящие меня, придите все, и целуйте мя последним целованием. Не буду уже с вами ходить или беседовать впредь...» И зовомые ею выстроились в длинную нестройную цепочку и понесли ко гробу последнее свое целование. Крайним же в очереди пристроился племянчатый родственник бабманин, неуклюже сжимавший в правой горсти молоток и четыре сотни с широкими шляпками. Отдал и он тетке своей последний долг. И выпрямился, и, не отходя от гроба, кивнул стоящим возле крышки: мол, давайте, тащите. «Рано», — кратко и кротко остановил его отец Сергей.

Когда же сходили с паперти на брусчатку, смолчал, вопреки обыкновению, маленький проводной колокол, висевший под аркой у входных дверей, а закричал со звонницы бабманин — пудовый. Одиноко и едва слышно. Но чем дальше отходили мы от церковной ограды, тем дружнее и громче расплескивался над Кутырками погребальный перебор — от высокого бабманиного к большому, басовому колоколу, как бы перебирая в воспоминании всю ее жизнь — от младенческого дисканта до хриплой, надтреснутой старости. А затем все шесть колоколов разом отбивали, отсчитывали последние ее минуты. И вдруг оживлялись и посылали с неба краткий и казавшийся сейчас таким неуместным радостный трезвон, из коего вновь скорбно и робко выпрастывался маленький бабманин пудовик. И так круг за кругом, круг за кругом...

Близ погоста встретились нам двое Гадариных — отец и старший из сыновей. Бабманю они недолюбливали, считали тунейкой и спекулянтшей, сами же обретали благоволение Божие, трудясь денно и ночью в поте лица. И не из принципа, может быть, а оттого, что коротки благодатные летние дни, не пошли они на панихиду вместе с односельчанами, а по росе еще начали косить на своей леваде жирную прикладбищенскую траву.

Люди в большой семье Гадариных были все набожные, по большим праздникам исправно ходившие к обедне и о десятине не забывавшие. И были они едва ли не самыми уважаемыми в округе. И Божье благословение, без сомнения, почивало на них, ибо огромный дом Гадаринский был что полная чаша. Четыре поколения жили в нем под одной крышей. И все многодетные. И лошади свои, и коровы. И свиней немало было у них. И на ярмарке инжавинской возле их обоза всегда было полно народу, ибо было у Гадариных, кого послушать и о чем поторговаться.

Поворотившись ко гробу задницами, отец и сын ворошили и раскидывали длинными граблями скошенное поутру сено. Когда же скорбное шествие скрылось за поворотом на погост, отец гадаринский отложил грабли, отер пот. И вынув из кармана туго набитый кисет, сказал сыну:

— Смотри, Санёк, что творится-то! Мать нашу хоронили, так Сергей и с паперти поленился сойти. А тут аж на погост поперся!

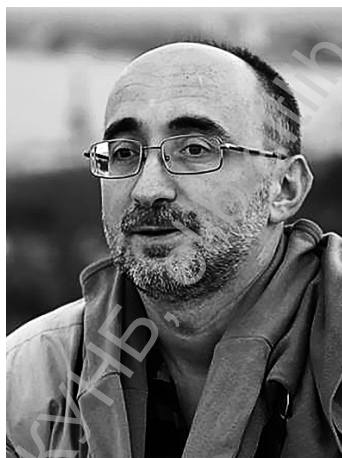
— Точно, батя! — поддакнул сын. — Самогонщицу какую-то хоронють, а раззвонились, как на паску... Чудны дела Твои, Господи!

И оба, поворотившись к востоку, где над высокими вязами плыл в небе золотой купол со крестом, дружно перекрестились. Сын снова взялся за грабли, а отец, развязав кисет, принялся отсыпать в лодочку ароматную моршанскую махру.

А Кутырки шли и шли, и пели «Трисвятое»: впереди отец Сергей с певчими, за ним Бабманя, потом и мы все — гуртом. Юрка же Рыбаков носился по деревне на своей «канарейке» — то вслед за нами, то навстречу — перевоза поминальное из домика причта в навсегда покинутую Бабманей избу.

## Андрей Дмитриев

Родился в 1972 году в Доброполье Донецкой области. Стихи печатались в журналах «Новый мир», «Стрелец», «Алтай», альманахах «Дикое Поле», «ДвуРечь», антологиях. Автор книги стихов «Сторожевая элегия» (2004). Член Русского ПЕН-центра Всемирной ассоциации писателей «Международный ПЕН-клуб».



### 11 июля

Когда, восприимчив к любому движенью,  
зрачком, напряжённым не в меру,  
пасёшь поплавок с центробежной мишенью,  
малейший толчок принимая на веру,

когда, на себя отвлекая вниманье,  
подростки на том берегу дебоширят, —  
какое проклянется воспоминанье,  
какие круги на поверхности ширит!..

Уже различаешь, где кнут, а где пряник,  
где та, на кого израсходовал юность:  
на смуглом плече поправляет купальник,  
и пробует воду, и вот окунулась...

Мы задним числом и умом — дальнорезки.  
(На том берегу мы ещё близоруки.)  
Тинейджеры пьют — назревают разборки.  
Под пляжным грибком — их мопеды и брюки.

Там кто-нибудь в реку швыряет бутылку —  
считай, что с посланьем... последнее сальто...  
Здесь луч мимоходом скользит по затылку:  
ты вспомнил, как сам-то?..

У них — повышаются градус и тонус.  
А скучный рыбак неуместен в пейзаже.  
«Мужик, — комментируют, — ну ты и тормоз!»  
«Соскочит! — вопят. — Ты ослеп?! Подсекай же!..»

Внимаю советам их, нервно и резко  
форсируя трепет, — пошла краснопёрка...  
В кустах близлежащих запуталась леска —  
сидеть и распутывать сбоку припёка.

Уже не подростки, а только лягушки  
так живо моё обсуждают соседство.  
Осталось лучом провести по макушке,  
чтоб вспыхнуло детство, —

чтоб дальнего шкета с макушкой ершистой  
припомнить, играя со временем в прятки...  
И сматывать удочки —  
всё завершится  
в обратном порядке.

1998

*с. Корфово-Нескучное*



Но прекратить трястись — и с мыслями б собраться.  
Я должен отвечать учёному суду,  
что батя мой шахтёр — и нехер улыбаться,  
что весь их факультет имею я в виду.  
Тогда бы я успел к обратному парому —  
и кто-то б подтолкнул меня в обратный путь.  
Толкают и сейчас. Чтоб стало по-другому...  
Любимая, ты что?.. Приснилось что-нибудь?

\*\*\*

*Памяти Б. Чичибабина*

Почти античная гора под Щebetовкой  
светла миндальные ряды когортой строгою.  
Казалась кромка бытия такою тонкой,  
как будто смерть отделена рассветной тогою;

как будто здесь готовит жизнь предел последний:  
вольна выбрасывать на мель, швырять к обочине,  
чтоб относительно неё

ни объяснений,  
ни подтверждений не искал (уже просроченных).

Здесь должен выглядеть дельфин почти античным —  
не тем, который для людей играет с мячиком, —  
а тем, которого с трудом дано постичь нам,  
который был обременён спасённым мальчиком.

Здесь предоставлены суда волнам конвойным.  
Не утверждай, что жизнь скудна и незатейлива.  
Мы предоставлены себе. Судьба проворна.  
Морской лампадкою для нас маяк затеплила.

Почти античная гора, где время проще  
и покидающие нас оставят снадобье, —  
как будто думают о нас в миндальной роще:  
ночная оторопь листвы... струенье слабое...



\*\*\*

Замедлен отсчёт. Оклемаемся за год.  
В забитом посёлке — достаточно выгод.  
Спокойное русло и тихая заводь —  
из дней непутёвых приемлемый выход.

Вот так и должно быть. Автобус уехал.  
И следует оцепененье, в котором  
тебя забывать — с переменным успехом,  
в себя приходиться — с пасторальным восторгом.

Вот так и должно быть. Поля в отдаленье:  
за розовым — синее. Клевер. Люцерна.  
И всё основательней рубишь поленья,  
от гиблой любви отвыкая усердно.

И так погода затеряешься между  
чужими, утетишься рядом с чужими.  
И впору зарыть документы, одежду —  
и впору другое прикидывать имя.

Дальнейшие действия неторопливы,  
чтоб длить равновесие — жгучее счастье в  
укромном дворе, в обрамлень крапивы.  
Уют устаканен. Крестьянин участлив:

«Сойдётся с приезжей учителькой умной...  
А можно — какую попроче деваху.  
И живностью обзаведёшься и уймай  
детишек. Отъешь себе круглую яху».

Везде обещание свежей фактуры —  
сопутствует местность, потворствует климат.  
И глупыми глазками пялятся куры —  
и лишнее прошлое на смех поднимут.

И станет не важно, чем был озабочен.  
Чем был вообще. Ожиданье протяжно.  
Опять тополями с дорожных обочин  
ведётся своя перекрёстная тяжба.

Бухие крестьяне, как сонные мухи.  
Степенное стадо прошествует мимо.  
Столетняя утварь. Дыханье разрухи.  
Избитые сумерки Третьего Рима.

Медлительный трактор виляет прицепом,  
пылищу в глаза бестолково пуская.  
Не так ли тебе досаждал я? При этом  
вполне понимал, что затея пустая...

Чуть-чуть потерпеть — и уже ни прицепа,  
ни пуха, ни перьев. Напомнят отныне  
о жёлтой угрозе — разгул курослепа,  
о вечной обузе — засилье полыни.

Останься, хозяин, не вяжущий лыка!  
Как больше не в тягость чужая опека!  
Лениво, размеренно эта волынка  
пусть тянется хоть до скончания века...

.....

Но время, в котором успел затеряться,  
неспешное, как разговоры старушек, —  
едва отсчитали за кадром «тринадцать» —  
уже понеслось, соскочило с катушек:

как если б, в колодце воды набирая,  
ведро упустил — и оно отмотало  
всю цепь, весь отрезок — от здешнего рая  
до Судного дна и дурного финала.

И всё на себе — провороты, повторы...  
Я всё подтвердил, проворонил, проверил...  
И смерть, и автобус — минута на сборы.  
А дальше... мелькайте, люцерна и клевер.

\*\*\*

*Ирине Евсе*

Сулит продолжение лазейка в заборе,  
доступная даже ежу.  
Сигналят цикады в незримом дозоре.  
Я тоже — о том же дрожу.

Чем слух напрягаю и мучаю зренье?  
Чему я значенье придам?  
Цепного волнения проворные звенья  
продвинулись к дачным садам.

Сверлят продолжение. Стрекохут в затылок.  
Везде беспокойство сквозит.  
Куда б ни выскальзывал лунный обмылок —  
в пределах залива скользит.

А всё основное — осталось за кадром,  
откуда проследовал ёж,  
откуда дают поручение цикадам —  
вгонять в беспричинную дрожь.

Их вроде бы нет. Но поют внутривенно.  
В нездешние вхожи слои.  
Следят. И в наружную тьму непременно  
пошлют донесенья свои.

Казалось бы, кто? — насекомые твари,  
тем тише, чем ниже трава,  
однако всему побережью едва ли  
подобные снились права.

Весь мир — в ожиданье несметного гула.  
Вся жизнь — подготовка броска.  
И звёздное небо к заливу стянуло  
свои основные войска.

Ночная вода подтверждает тревогу.  
Тревога пульсирует в ней.  
И знают цикады, зачем здесь так много  
посадочных звёзд и огней.

И то, что в груди возникает накатом, —  
в конечном итоге спасём.  
Сигналят. И кто-то, подобно цикадам, —  
повсюду, всегда, обо всём...

Чьим золотом главный фарватер закапан,  
чьей волей стрекочущий сад  
имеет лазейку во тьму, а не клапан, —  
и можно вернуться назад.

Понятно, какая последует местность,  
цикаде, ежу и звезде, —  
как только в другую скользнём неизвестность,  
в ночной отразившись воде...

\*\*\*

*Светлане Кековой*

## 1

Страх и трепет в трёхсложном размере  
в злонамеренном мире ночном.  
Произвольно купейные двери  
начинают ходить ходуном.  
И, борзея, таможенный аспид,  
тормошит перекатную голь.  
И рассеянно ищешь свой паспорт,  
проходя пограничный контроль.

## 2

Упредительный сумрак напорист.  
На созвездиях шапки горят.  
Снится в поезде — собственно поезд.  
Беспорядочен зрительный ряд.  
Все курсируют шатко и валко.  
Чертыханья на каждом шагу.  
И на каждом шагу перепалка.  
Я опять перед кем-то в долгу.

## 3

Много всяких и разных ходило...  
До отказа наполнен состав.  
Обстоятельно каждый мудило  
разглагольствует, *как я не прав.*  
Ни к чему церемонией чайной  
раздражать забухавших ребят.  
Потому что не прав изначально!  
Потому что всегда виноват!

## 4

Всё обходится без мордобоя  
к недовольству обеих сторон.  
(Чем кончаются склоки с судьбою —  
умолчит несговорчивый сон.)  
Как привычна дорожная тряска.  
Как протяжна тревожная страсть:  
мимо Курска, Оскола, Славянска  
— в направлении Свана пропасть...

5

Ускользает от сонного взгляда —  
странным образом — самая суть...  
Наконец-то приходит *кто надо*...  
А тогда не пытайся уснуть.  
Потому что рассветным ознобом,  
обязательной резью в глазах,  
ослепительным знаком особым —  
отгесняются трепет и страх.

6

Различишь за окном, озирая  
захолустный пейзаж поутру, —  
розоватые прорези рая  
в промелькнувшем сосновом бору.  
«Ты не дрейфь, очарованный странник!  
Не жалей, — говорит, — ни о чём».  
Как сиятелен стал подстаканник,  
позлащённый прицельным лучом!

7

Дальше — больше. Оставь рассужденья,  
а вниманье своё обрати  
на туман в полосе отчужденья  
и жемчужный остаток пути.  
Возникающее из-под спуда,  
из железнодорожных длиннот, —  
истончится случайное чудо,  
испарится, сойдёт, ускользнёт...

## Галина Батюк

Родилась в 1995 году в Барнауле. Постоянный автор журналов «Алтай» и «Культура Алтайского края». В настоящее время учится в Санкт-Петербургском государственном университете на историческом факультете. Живет в Санкт-Петербурге и Барнауле.



## ЗИМА

**З**а долгую-долгую сибирскую зиму можно вырасти на несколько сантиметров, выправить кривой зуб усилием воли и — против всех правил хранения продуктов — заморозить и разморозить собственное сердце несколько раз. Это осень для смертей, двусторонних пневмоний и тоскливых кардиоцентров с бесконечными коридорами, зима — для тихой жизни, вкрадчивой, как едва различимый разговор соседей за стенкой.

### 1

Мне пять лет, может быть, шесть, но точно не семь, потому что мама все еще работает в Никольской церкви. Кажется, это ее последняя зима в Никольской, потому что летом, когда ее уволят, она будет лежать — лицом в потолок — на кровати в бабушкиной комнате, насквозь, до плинтусов, пропитанной солнцем (бабушкина комната на восточной стороне), и слезы, как это бывает, когда человек сталкивается с настоящим черным горем, двумя

длинными серпантинными нитями будут течь из ее широко открытых неморгающих глаз и она не будет даже пытаться этому препятствовать.

Хочешь выхватить из зимних повседневных чудес, из всех этих «шалостей фей и дел чародеев» что-то явное, точно имеющее законченную форму, — и ничего не выходит. Все рассыпается снегом, перьями из разодранной перины, конфетти из хлопушки, и ты бегаешь как дурак, хватаясь за мелкие частички, просыпающиеся сквозь пальцы. Все воспоминания взрываются на части и исчезают при попытке их материализации, как исчезает привидение родного умершего человека, когда окликаешь его по имени.

Дымчатая, сизовато-фиолетовая акварель четырехчасовых декабрьских сумерек разлита по трехкомнатной хрущевке. Она забивается в углы, становится там тяжелее и гуще. Силуэты домашних — синие, как на чашках Ломоносовского фарфорового завода. Света совсем немного, он едва пробивается сквозь заслонку замороженных стекол балкона и как-то стыдливо висит в комнате, как советский дырявый тюль.

Отчего-то я сплю посреди зала на полосатых, оранжево-желтых, накрытых дубленкой санках. То ли уложить меня днем было в целом проблематично, поэтому домашние соглашались на любые варианты, то ли я была таким эксцентриком (кажется, еще я спала в специальной детской ванне-корытце) — помню только, что бабушка ничему не удивлялась. Но приходила холодная мама в каракулевой шубе, превращающей человека в квадрат, и я, бессовестная вымогательница, бросалась на нее и потрошила сумки, из которых выпадали всевозможные чудеса: золотая самоклеющаяся бумага, электрическая орущая голова Деда Мороза, длинная замороженная рыба, больше похожая на палку колбасы. Потом мы ели жареную рыбу и, найдя в ней икру, говорили, что год будет удачным. Свет горел только на кухне, и оттого казалось, что, кроме кухни, нет больше в этом запустелом, оставленном мире другой жизни.

Между мамой и бабушкой, как линия огня на фронте, проходил несокрушимый барьер конфронтации в вопросе предновогоднего декора малогабаритной квартиры. Мама была за скандинавскую сдержанность и лаконизм, бабушка — за блестящий



советский шик. После некоторое время продолжающихся воплей мама, посмотрев на нас, как на революционных варваров, орудующих в Зимнем дворце, бросала: «Делайте, что хотите», и бабушка с хитрой улыбкой начинала замешивать клейстер, чтобы приготовить всю свою снежную бутафорию. 1:0 — радовалась я в душе за бабушку. Наутро сверху свисал «дождик» — серебристые нити мишуры, прикрепленные к кусочкам ваты, которые, в свою очередь, были прикреплены к потолку. Мама горевала по пропавшему пенопластовому — белые накладные панели в мелкий цветочный узор — потолку, мне казалось, что этому потолку уже ничего не может повредить. Елки же у нас всегда были живые (но, конечно, с разной степенью этой живости). Была лысая елка, которую мама купила на последние пятьдесят рублей. Увидев ее, я разрыдалась и, чтобы не обидеть маму, соврала, что плачу, потому как забыла рассказать, что получила тройку. Была елка, которую привез из тайги крестный. Никогда не спрашивайте наглых женщин, вроде меня, что привезти. Паша имел неосторожность спросить, и я — губа не дура — заказала елку. Если бы Паша жил в XIX веке, он бы точно стрелялся на дуэлях, потому что есть на свете дела чести. Привязав завернутую в простыню ель к своей спине, под шквалом острых даже не снежинок, а каких-то мерзлых острых игл, под бубнеж друга-зануды, боящегося, что их вместе арестуют за браконьерство, Паша таки доставил дерево в срок.

Мы уехали из старой квартиры на окраине, потому что в ней умерла Олеся, потому что святая вода в банках, составленных в углу, замерзла там в лед, потому что соседи сверху лупили друг друга так, что, кажется, могли к нам провалиться. Все преимущества жизни в центре были оценены нами сразу же, особенно мы были впечатлены доступностью зимнего снежного городка на площади Сахарова. Вполне еще здоровая, сильная бабушка приводила меня на площадь, и мы долго рассматривали стены из ледяных кирпичей с заключенными внутри вечным мерзлым пленом рыбами (кирпичи делали прямо из обского льда). Меня нисколько не печалила судьба застрявших рыб, но бабушка на всякий случай говорила, что потом их вернут назад и они живут (почти как море отдает своих мертвецов — только наоборот).

Апогеем всего был фейерверк. Как люди, впервые увидевшие фильм братьев Люмьер, были напуганы до смерти надвигающимся поездом, так и я боялась фейерверка. Обладая природной избретательностью, я обманым путем (притворилась, что умираю от обморожения ног) увела маму и бабушку с площади Сахарова, не дав до конца насладиться нехитрой радостью, и лишь дома призналась в том, что истинной причиной ухода было опасение того, что «нам все глаза этим огнем повышибут».

...Сейчас бабушка смотрит на меня помутневшими глазами с размытой радужкой, иногда называет именем своего брата, иногда просит посидеть у нее на коленях, забывая, что мне не пять и я вешу не двадцать килограммов. Но потом, как чиркнувшая спичка в лесу, что-то промелькнет у нее в глазах, и она тянет истлевающей пергаментной рукой мою руку к своему кривящемуся рту, а я огрызаюсь, что, мол, не патриарх, чтобы мне руки целовать. Лет десять она не делает «дождик» из мишуры, не варит клейстер, не мусорит бумагой от вырезанных снежинок на ковер и не выходит на улицу. Когда ее везут в больницу в социальном такси, мама пытается заново показать ей город: вот администрация, университет, Никольская — но бабушка соглашается, что видит и узнает с притворством человека, которому показываешь где-то на горизонте птицу, а он, не в силах ее разглядеть, говорит, что заметил. Мир как-то схлопнулся для нее, и сколько ни пытаешься заставить себя думать, что она — это она, мне все кажется, что на ее месте сидит кто-то другой, из ее тела говорит другой, а она настоящая, та, что в коричневом пальто с котиковым воротником показывает мне замороженных рыб, стуча голыми пальцами (не носила варежек, у нее никогда не мерзли руки) по льду этим рыбам, куда-то скрылась от меня, как постепенно уходит в кровожадную глубину лицо человека, которого хоронят в проруби.

Но где-то в других метафизических координатах, наверное, есть семья, которая все сидит под сенью кухонного абажура, и тьма их не одолевает. Помню еще, что Рождество было больше, чем Новый год, что, приходя со всенощной, я замечала, как от света лампы Ломоносовский фарфоровый завод куда-то исчезал, и все становилось мягким, пульсирующим, зыбким, восковым

и песчаным одновременно, и подарки приносил мне не казенный Дед Мороз, а почему-то Николай Чудотворец.

## 2

Мне пятнадцать. Он красив, как Аполлон, и глуп, как дерево. Он утверждает, что был исключительно умен, но то ли перестарался, то ли что-то пошло не так, и поэтому планы на жизнь пришлось изменить — вместо математического поступать на физкультурный. Я охотно верю этому и поверила бы, даже если бы он сказал, что его послали ко мне с Марса. Из всех развлечений в уездном городе Б. нами выбраны, во-первых, вечерние прогулки по бывшему кладбищу (а ныне — парку), видимо, с прицелом, что он сможет проявить свою храбрость, если придется столкнуться с трансцендентными силами, во-вторых, катания на троллейбусе за его счет (опять же — не очень холодно, дешево и сердито). Он не любит меня, и все, что между нами было (а ведь ничего не было), спето в «Восьмикласснице» Цоя. Но — странное дело — я не то чтобы печалюсь из-за его нелюбви. Я внимательно читала русскую классическую литературу и знала, что пятнадцать лет — это уже безнадежно много, но тут выясняется, что моя сердечная мышца умеет еще кое-что, кроме как осуществлять перегонку крови; и я смотрю на себя, как на подопытную в каком-то чуть-чуть жестоком эксперименте. Так мы гуляли всю зиму, мы шли по кладбищу-парку, и мне казалось, что снег тает под подошвами моих ботинок и на тропинке остается цепочка черных следов. Дома же выяснялось, что ног я не чувствую, что они близки к какой-то там стадии обморожения. Я опускала их в тазик с горячей водой, и белые пальцы-сардельки постепенно приобретали здоровый мясной оттенок. Я разлюбила его, когда снег растаял.

## 3

Мне двадцать. Я очнулась на заднем сидении трясущейся по дороге где-то между заснеженными алтайскими полями маршрутки. И нет — это не начало дешевого детектива. Вообще,

есть некий мотив паломничества в почти любом путешествии по нашей необъятной — дальше сами знаете. Чтобы добраться из города С. в город Б., нужно немного претерпеть. Прилетев ночным рейсом из невзаправдашной, поддельной, бесснежной питерской зимы в ледяную стужу города Н., засыпаю в междугородней маршрутке и просыпаюсь только где-то на подступах к родным пенатам. Просыпаюсь от разящего света и цвета, белого, как больница. Процарапываю крутяшок в замерзшем стекле, отогреваю его, слепну и радуюсь своей слепоте. Я пропустила, как двоечник-прогульщик, всю осень, всю зиму, не видела, как умирали деревья, не знала, как поля хоронили под снегом. В Петербурге нет зимы — там вообще нет времен года. И я лечу куда-то в глубокий-глубокий туннель-колодец, как в детстве, когда мне подарили собаку, я побежала с ней гулять, увязла в снегу и упала в обморок от счастья.

На остановке у придорожного кафе на трассе женщина, укутанная в старую шаль, подпрыгивает, опираясь на колеса огромных фур, заглядывает в лица дальнобоев и просит дать немного на корм вертящейся около нее и помахивающей хвостом-колечком собаке. Шаль — точь-в-точь, как была когда-то у моей бабушки, и даже дырки, проеденные молью, вроде в тех же местах. Где-то внутри меня как будто больной зуб, только без точного места локализации. Я пытаюсь выбраться из маршрутки, но водитель кричит мне сердито: «Куда уж? Сейчас поедем», и я послушно остаюсь, прислоняюсь теплым лбом к холодному, покрытому наледью стеклу. Водитель стоит еще несколько секунд, бросает окурок в сугроб, и на белом снежном холсте остается только черный ореол пулевого ранения.

## БИБЛИОТЕКА

Даже если сесть посреди дороги, простите, т.е. направления, где-нибудь во Внутренней Монголии и долго ждать, ничего не делая, все равно на твоих глазах рано или поздно произойдет что-нибудь значимое. Библиотека — вроде бы не самое

подходящее место для экшена, но и там иногда случается кое-что, дающее пищу для ума и повод для слегка ироничной улыбки.

## 1

В целом при должном уровне усидчивости и смирения разобраться в каталогах библиотеки не так уж и сложно. Не нужно обладать дедукцией/индукцией Шерлока, чтобы отыскать нужную книгу, однако кое-какие заминки все равно бывают. Библиотечная система такова: все издания до 1957 года хранятся в старом здании, после — в новом соответственно. Однако электронный каталог упрямо показывает, что нужный мне журнал начала XX века находится в новом здании, но такого быть не может, как деления на ноль. Меня отправляют за разъяснениями к библиографу. Не успела я дойти до места обиталища библиографов, как меня встречает некто: «Здравствуйте! Чем я могу помочь?» «Вот сервис!» — думаю я. По мере объяснения моей проблемы я чувствую, что кровь в жилах библиографа потихоньку начинает закипать, желваки под кожей — пульсировать, глазные яблоки — вращаться, а сам он начинает слегка сотрясаться от каких-то импульсов, как будто к нему подвели электрод. Кажется, что изнутри его распирает сжатый пар, и, если не снять клапан, он взорвется, как исландский вулкан с невыговариваемым названием. Библиограф бросается к компьютеру, стучит по клавишам и, наконец, разряжается: «Это же Руссланд! Сплошная бюрократия! Чего вы хотите? У нас все через ж..., даже выдача книг в библиотеке! Это Руссланд, девушка! Валить отсюда надо! Валить!» Потом библиограф бежит в то место, откуда меня отправили — я бегу за библиографом. Этот же монолог он повторяет перед ним же неповинными, смиренными и тихими, как моль, служительницами библиотеки, приправляя его для большей убедительности обцененной лексикой. Когда вспышка гнева проходит и температура спадает до нормальных показателей, сотрудницы мне шепчут: «Вы к нему больше не подходите».

Причина, почему журнал был не в положенном ему месте, оказалась прозаична: в электронном каталоге указали не сам журнал,

а его оттиск, сделанный уже после 1957 года. Я вот думаю: если эта заминка вызвала такую бурю, то что же этот библиограф — гнев Божий — делает в поликлиниках, администрациях и МФЦ, где даже у самого дзен-буддистски настроенного человека веко левого глаза начинает нервически подергиваться?

## 2

В одном из читальных залов библиотеки завелся маньяк. Особые приметы: рост выше среднего, плотного телосложения, носит старый кожаный портфель а-ля Жванецкий и очки в роговой оправе, на вид — лет восемьдесят. Читает книги только об Ахматовой и Гумилеве. Втершись в доверие к какой-нибудь юной особе декламацией стихов поэтов Серебряного века, он крадет у нее как минимум час, смакуя никому не нужные и, возможно, не существовавшие в реальности подробности этого странного брака Анны Андреевны и Николая Степановича, а в конце без обиняков предлагает: давай поцелуемся. Что интересно — объекты внимания библиотечного маньяка обычно свежи как розы — во всяком случае, я никогда не видела, чтобы он пытался так обрабатывать своих ровесниц.

Меня терзают два чувства. Первое — отвращение. С чего он решил, что пожилой мужчина с нездоровыми фантазиями может красть время у молодости, почему он, пахнущий стариком, может целовать сморщенными губами — пусть даже невинно в лоб — этих девушек, пахнущих без всяких «Герленов» летом? Но ведь и девушки хороши — они же не убегают от него с криками «Харассмент». Я много раз прокручиваю в голове возможные сценарии того, как поступить, если он подойдет ко мне. Додумалась до того, что самой смешно: изображу немую, если он начнет со мной разговаривать.

Второе — почти жалость. Я понимаю, что любви все возрасты покорны, но все же для молодости — волнение и трепет сердца, для старости — благословенный покой, и поэтому от его поползновений возникает ощущение неловкости, как от неверно поставленных запятых. Может быть, он приходит из библиотеки

в стылую сумеречную комнату в коммуналке, ставит облупленный чайник, сидит, пьет «Принцессу Нури» за сорок рублей и думает о своем случайном разговоре, уверяя себя, что он не последний человек, раз его слушают и даже разрешают ему поцеловать себя. В конце концов, он не проживет девятьсот мафусаиловых лет, настанет момент, когда кто-то уже его должен будет целовать в лоб, но только существуют ли такие люди, я не уверена.

### 3

Я только доела в столовой картошку и поставила поднос на стол для грязной посуды, как меня на выходе настиг некий мужчина. Нет, слава Богу, не тот, про которого писала выше. По сравнению с предыдущим — весьма молод, лет пятьдесят, не больше. Кажется, иностранец, хорошо изъясняется по-русски со слегка заметным европейским акцентом. Говорит, что, когда читал «Евгения Онегина», представлял Татьяну Ларину так, как я сейчас выгляжу.

Моя бабушка (нет, не курит трубку) весьма строгих, пуританских даже, нравов и, когда жила в деревне в молодости, отбивалась от незадачливых ухажеров коромыслом (в прямом смысле). Я — в бабушку. Я смотрю на этого читателя «Евгения Онегина», и во мне медленно сжимается пружина, готовая вот-вот распрямиться. Но ничего далее за литературным сравнением не следует, целоваться не предлагает. Я бурчу что-то невнятное в ответ и бегу к лифту, в зеркале которого отражается мое зимнее бледное лицо с темными кругами под глазами; пружина ослабевает, и в голову лезет типично женское: это я еще ненакрашенная.



## Виктор Теплицкий

Родился в 1970 году в Красноярске. Окончил филологический факультет КГПУ. В 1995 году рукоположен в сан пресвитера. Публиковался в журналах «День и ночь», «Город детства», «Старое и новое» и др. Автор стихотворных сборников «Осенняя свирель» (1999), «Прикосновенье к горизонту» (2001), «Дом на холме» (2005). Лауреат премии им. В.П. Астафьева в номинации «Иной жанр» (2005).

## ПОП

**Ж**ил-был поп. Лоб у него был вполне нормальный, волосы собраны в хвостик. На пресвитерской бородке виднелись седые отметины — шрамы искушений, на иерейском животике — последствия съестных и прочих утешений. Впрочем, поп, старался не впадать в крайности, не хватать лишку, одним словом, не перебарщивать. Для этого у него имелся тонкий слух, который улавливал тихий голос совести.

Прихожане его называли батюшкой, священники — батей, епископы — отцом. У него была супруга и, как водится у многих нынешних отцов, трое детей. В одной упряжи с женой он исправно тащил церковную борону по полю жизни. На место настоятеля не метил, во время архиерейской службы норовил затеряться среди наградных крестов и фелоней.

Кроме прихожан, храм посещали захожане. Одни рьяно устремлялись в очередь на исповедь, другие — к подсвечникам. Случались, конечно, и заплыване, и залетане, био-псевдо-и прочие



энергетики, люди с тремя глазами и просто сумасшедшие, таких, правда, было немного. Каждый требовал соучастия, одобрения. Но батя не всегда постигал смысл изреченных глаголов.

Некоторые прихожане изъяснялись на храмовом диалекте. Жадность именовали серебрюлюбием, корысть — мшелоимством (отца всякий раз подмывало спросить что-нибудь о ловле мышей) и четко отличали чревоугодие от гортанобесия.

Хуже всего дело обстояло с потомственными целителями-магами, шаманами-ведунами, с бубнами и без оных. Казалось, он говорит с марсианами. То, что абхугараджасы — это представители пятой Манвантары, трогало мало, да и «яму» от «хари» он отличать не собирался.

Тонкий поповский слух при этом страдал. Птицей небесной бился он в чащобе вербальных хитросплетений и ранил крылья. Когда стрелка терпиметра зашкаливала, батя собирал наскоро снасти, палатку и укатывал на электричке в тайгу доставать из воды пескарей.

В очередное воскресенье он чмокнул матушку в щеку, благословил семью и направил стопы подальше от города. В рюкзаке покоились два часослова: Рильке и честных монастырей.

Все сразу пошло не так. Электричка долго стояла на путях, ждала скорый; солнечное утро сменилось пасмурным днем; а когда отец жадно вдохнул запах сосен, зарядил дождь. Промокший, голодный, усталый едва доплелся до места. Кашеварил уже в темноте. Переодевшись в сухое, полез в спальник. Тут его и остановил тихий голос совести:

— А повечерие?

— Ты о чем? Какое повечерие?

— Ну, хотя бы малое.

— Слушай, я зверски устал. Пусть будет считаться, что я молился ногами.

— Ногами, — хмыкнул голос, — молятся в крестных ходах. Незачет!

— Вообще-то в Писании сказано: «Господь долготерпелив и многомилостив», — оправдывался батя. — Псалом сто второй, кажется.

— «В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа: не взыщет», — парировал голос. — Псалом девять, стих двадцать пять.

— А как же «будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд»? Это, между прочим, Новый Завет.

— Хватанул, однако! Ну так получи: «...ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его». Матфей, шестнадцать, двадцать семь.

Они бы еще долго перепирались, но у бати с каждым словом тяжелели веки. Наконец, он поскорю прочитал Серафимово правило, по-иерейски осенил палатку и провалился в сон.

Дождь монотонно стучал по листьям. Но с каждым ударом сон истончался. Когда стал тоньше волоса, батя услышал треск веток — три медведя вышли из чащобы. Неспешно расположились перед входом.

— Голодно, мне голодно! — простонал громко первый медведь, воздевая когти к небу.

— Кто сидел на моем бревне и сдвинул его? — завизжал второй.

— Есть или не есть, вот в чем вопрос, — молвил третий задумчиво, сложив лапы на груди.

Батя лежал, боясь пошевелиться. Сил поднять десницу для крестного знамения — не было.

— Начнем! — взвыл первый медведь. — Herr: es ist Zeit.<sup>1</sup>

— Pereat mundus et fiat justitia<sup>2</sup>, — подхватил второй.

— Тварь ли я дрожащая... — начал было третий, но его резко осадили: — Уймись. Тоже мне, Агта Тролль нашелся.

Тени надвинулись на палатку. Затрещала ткань...

— Как тебе плоды твоих потуг? — спросил голос совести.

— Но ведь я молился! Как же так? — вскричал поп... и проснулся.

Вовсю палило солнце, щебетали птахи. В палатке было душно, майка прилипла к телу. Батя выдохнул, перекрестился, улыбнулся. Выбрался из палатки и... замер. Кусты поломаны, трава измята, бревно, с которого он обычно рыбачил, сброшено в реку.

На перекате весело плескались пескари.

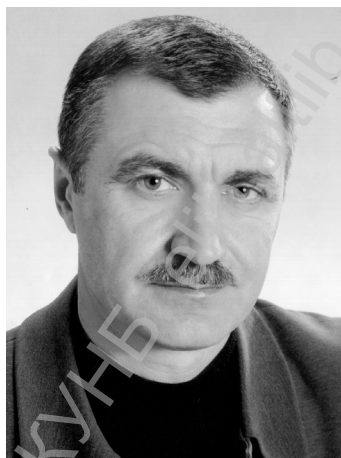
---

<sup>1</sup> Herr: es ist Zeit (нем.) «Господь, пора». Р.М. Рильке.

<sup>2</sup> Pereat mundus et fiat justitia (лат.) «Пусть погибнет мир, но да свершится правосудие».

## Александр Рудыка

Родился в 1965 году в поселке Чуйский Алтайского края. Окончил ветеринарный факультет АСХИ. Работал ветеринаром, преподавателем аграрного техникума, редактором районной газеты. Публиковался в журналах «Алтай», «Барнаул», «Огни Кузбасса», «Подъём» и др. Автор нескольких стихотворных книг. Живет в селе Верх-Кучук Шелаболихинского района.



\*\*\*

*Все, что я в жизни увидел,  
Я и понять не успел.  
Василий Казанцев*

И гложет и жжёт ежечасно  
Меня у слиянья дорог  
Всё то, что уму не подвластно —  
Чего я осмыслить не смог.

А что не просило ответа,  
Коль вспахано неглубоко,  
Давалось разменной монетой...  
И так же забылось легко!

## К Шукшину

Пикет. Постою у подножия...  
Разуюсь у всех на виду.  
А то получается, что же я,  
Обутым к босому иду!..

Миную подъём, что накатанный,  
Пойду по зелёной канве —  
По благоухающей ладаном  
Цветущей июльской траве.

Вершина — венец восхождения.  
Подобно святому лучу,  
Ко мне снизойдёт откровение,  
Что тщетно повсюду ищу.

Вгляжусь я в глаза изваяния,  
А в них оживает печаль...  
На что через все расстояния  
Он смотрит задумчиво вдаль:

На дерево, серьги надевшее,  
Катунской водицы струю,  
На поле, ещё не созревшее,  
А может быть, в душу мою?..

## Два сна

### 1

Уезжаю. Мой путь — в неизвестность.  
А вокруг — незнакомая местность.  
И неясные лица людей...  
Словно стало душе холодней.

### 2

Возвращаюсь. Вот — улица детства.  
И друзья, что росли по соседству —  
Все живые — навстречу спешат...  
Но по-прежнему забнет душа.

\*\*\*

Сгорел деревенский юродивый.  
Ступил на небесную твердь.  
Он смерть не почувствовал вроде бы...  
А можно ли чувствовать смерть?!

Спаситель старух и болезненных,  
Ленивым — покорный слуга.  
Он тихую душу болезную  
Для всех раскрывал донага.

И часто по делу по-пьяному  
Курил в приоткрытую печь...  
Как будто судьбу окаянную  
Спешил он нечаянно сжечь.

## Отрог

Бесконечна дорога,  
Словно чья-то печаль...  
До заветного срока —  
Неоглядная даль.

Встали кедры как вежи  
Там, где горный отрог  
Обрывает навеки  
Бесконечность дорог.

## Прогулка

Пологим берегом бредёшь  
Рассеянно-неторопливо...  
Вдыхая чистоту прилива,  
Отлива ощущая дрожь.

Минуты медленно текут  
Несуетного состоянья...  
Они — как те воспоминанья,  
Что создают душе уют.

И где-нибудь на полпути  
Вдруг наступает озарённость:  
Шаг в никуда — определённости...  
Страшнее — не к кому идти!

\*\*\*

Ложится в поле первый снег.  
Зима — волчица молодая,  
Ещё усталости не зная,  
Лишь начинает свой разбег.

Ещё морозный морок слаб.  
И так легко его касанье!  
Как приглушённое дыханье...  
Как поступь осторожных лап...

Стихает в поле снегопад...  
И я не вижу — ощущаю,  
Как неизбежное встречаю  
Поры холодной волчий взгляд.

\*\*\*

На весну не надейся —  
Та же стужа в природе.  
Прилетевшие гуси  
По зеркальному льду,  
Осторожно ступая,  
На цыпочках бродят.  
Безысходно, несвязно крича,  
Как в бреду...  
Ты взглядишь в это действие  
В сверкающем свете,  
Ты послушай:  
Хрустит ледяная крупа...  
Изумлённые гуси  
В озёрном балете  
Неуклюже выводят  
Нескладные «па».

## По закону любви

Хнычет в вагоне ребёнок —  
Мамка не может унять.  
Хнычет ребёнок спросонок...  
Это нетрудно понять.

Уросит он без надрыва...  
И по закону любви  
Плачут для нас, пассажиров,  
Дети и внуки вдали.

\*\*\*

*... и то, что будет, уже прошло...*

*И. Шкляревский*

Приснилось, как будто открылось...  
С тех пор не могу я забытья:  
Всё то, что со мною  
случилось,  
Должно ещё только  
случиться.

\*\*\*

На грани  
Неба и земли,  
В сетях  
Заката золотого  
Забилось  
Брошенное слово,  
Как рыба  
На речной мели.



## Марианна Дедерер

Окончила Алтайский государственный медицинский университет.  
В 1990 годы активно участвовала в литературной жизни Барнаула в составе театра состояний «Свет». Живет в Новосибирске.



\*\*\*

Освоить бисероплетение,  
Нанизывать миры на ниточку —  
И в каждом жить,  
И быть внимательным...  
И узелков нельзя завязывать.

\*\*\*

По коридорам флейт,  
Туннелями органа,  
Как тёплый выдох, ты пройдёшь  
Воздушным телом,  
И там, у выхода из вод,  
Огней и труб  
Родишься музыкой  
И слуха моего достигнешь...  
Вот так мы встретимся.

\*\*\*

Что ты делаешь здесь?  
Твоё место — в лугах,  
Где качаются красные маки.  
Как причудливы знаки  
На шёлковых их лепестках...

\*\*\*

Привычным движением сердце ложится под нож.  
Не бойся, не насмерть — а просто  
чтоб чувствовать боль,  
Чтоб каждый удар увеличивал список потерь —  
А как же иначе узнаешь, что ты ещё жив?

А Солнце по кругу — без сна, без добра и без зла —  
Подателем жизни и смертным палящим лучом.  
На привязи лошадь. Высокая точка орла...  
Суровая тихая песня — не слышно, о чём.

\*\*\*

Без жалости прощается  
С детьми своего тепла  
Осеннее нежное солнце...

\*\*\*

Любовь его, как слеза — горька и необратима.  
Дорога её ясна и прозрачна.  
Но потоки её высекают морщины  
На камне его лица.  
Это странный мужчина...  
А когда он однажды заплачет,  
По руслу — прежде сухим и неизгладимым —  
Утечёт вся земная вода.

\*\*\*

Это всё шелуха, чепуха, омертвелая кожа...  
Я уже непохожа  
На вчерашнее фото своё же, и что же —  
Мне сушить и хранить  
эти пёстрые листья, нарядные шкурки  
И гадать о грядущем  
по тоненьким жилкам, морщинкам,  
По руслам течений,  
по линиям жизни на карте?..  
Над холодными водами рек, утекающих в вечность,  
Я ловлю мимолётные взгляды своих отражений,  
Серебристые проблески истин.  
В каждой капле воды — вся река, от истока до устья,  
Мелкий бисер чудес,  
Терпеливая гладь ожиданья...  
Неужели вернусь я —  
На поля позабытых сражений,  
На вокзал к уходящим экспрессам,  
Беглых ящериц хвостикам, в пальцах горячих зажатых?..  
Тишина.  
Тишина.  
Тишина...



## Наталья Лясковская

Родилась на Украине, в Умани. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Поэт, прозаик, переводчик, публицист. Автор книг стихов и прозы для взрослых и детей, в том числе «Сказки о варешках и бабушках» (2014), «Сильный Ангел» (2014), «Матрона Московская» (2016) и др. Член Союза писателей России. Член Совета Международного Союза православных женщин. Живет в Москве.

## НИКОЛАЙ ЛЕСКОВ. ЖИЗНЬ ЧЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА

### Пролог

*«Я не стану усекать одних и раздувать значение других событий: меня к этому не вынуждает искусственная и неестественная форма романа, требующая закругления фабулы и сосредоточения всего около главного центра. В жизни так не бывает. Жизнь человека идёт, как развивающаяся со скалки хартия, и её буду просто развивать лентой».*

*Н. С. Лесков. «Блуждающие огоньки  
(Автобиография Праотцева)»*

*В грусти есть много красивого.  
Это хорошая сдобь для многих произведений  
и, конечно, всего больше для воспоминаний о былом  
и невозвратно прошедшем...*

*А. Н. Лесков*

## Ни на чей зов не пойду

Немолодой господин с усталым, несколько даже сердитым лицом, сидел в своем кабинете за письменным столом и с тоской смотрел на лежащий перед ним лист среднеценовой желтоватой бумаги от Русановых<sup>1</sup> (ему не нравилась слишком белая и гладкая улейминская)<sup>2</sup>, на котором с самого верху чернели мелкой вязью пока всего лишь три слова:

«Многоуважаемый Алексей Сергеевич!»

«Оставьте меня в покое», — хотелось ему написать далее, затем поставить три восклицательных знака (восклицательные знаки он любил!) — и на том порешить. Но большая, привыкшая к письменному труду рука потянулась к чернильнице (расписной пейзажный домик, подаренный на память о поездке во Францию доброй приятельницей, соседкой по гостинице «бело-пепельной Режиной» — редкой пошлости вещица, ценящая лишь за воспоминания, связанные с нею), обмакнула перо, стяхнула с него лишнюю каплю и аккуратно вывела: «ко мне опять приступают по поводу исполняющегося на днях 35-летия... с этим заходили и еще к кому-то, и очень может быть, что зайдут к Вам».

---

<sup>1</sup>Потомственный почетный гражданин купец I гильдии Сергей Дмитриевич Русанов был земляком Лескова, в 1848 г. вместе с сыном и братом он основал писчебумажные фабрики в с. Чернава Елецкого уезда на реке Чернавке: одну у самого устья, другую выше по течению. Верхняя производила оберточную бумагу из соломы. На основной фабрике производился добротный продукт: лощеные листы, писчая бумага, тончайшая папиросная, оберточная, цветная и гербовая с водяными знаками. Лесков всегда пользовался русановской продукцией, за что называл себя шутя «бумажный патриот».

<sup>2</sup>Одна из крупнейших тогда в России Улейминская мануфактура, основанная купцами Александром и Николаем Поповыми в Угличском уезде в 1743 г., в 1864-м перешла к англичанину Генри Говарду, а затем — к купцам Выжиловым. Здесь изготавливалась писчая, обойная, оберточная, газетная бумага.

Пока хмурый господин подбирает выражения покоректнее, мы, не потревожив его, осмотрим комнату, где он в последние годы проводил большую часть своего времени. Воспользуемся литературным приемом, который он и сам любил: «незаметно» заглянуть к своим героям в карету — как в во второй главе романа «Некуда», которая называется «Кто едет в тарантасе» («темнота и туман не позволяли нам ранее рассмотреть этого общества, и мы сделаем это теперь»), благо «кучер не может заметить нашего присутствия в тарантасе»), или в комнату: «Говорят, что человеческое жилище всегда более или менее точно выражает собою характер людей, которые в нём обитают. Едва ли нужно доказывать, что до известной степени можно допустить справедливость этого замечания. Наблюдательный и чуткий человек, осмотревшись в жилье людей, мало ему знакомых или даже совсем незнакомых, по самым неуловимым мелочам в обстановке, размещении и содержании этого жилья чувствует, что здесь преобладает: любовь или вражда, согласие или ссора, радушие или скупость, домовитость или расточительность». Но раз мы дерзаем заглянуть именно в кабинет, то сошлемся на французского критика Сароэ, сформулировавшего тему подходящим для данного случая образом: «По кабинету писателя можно вывести заключение о литературной деятельности писателя». Какая же картина предстанет перед нашими глазами? Обстановка «пестрая, яркая, своеобразная» — таким увидела обиталище хмурого на вид господина его приятельница, писательница В. Микулич (Лидия Ивановна Веселитская)<sup>3</sup>, посетившая его

---

<sup>3</sup>Микулич (Веселитская Л.И.) — талантливая писательница. Родилась в 1857 г. Училась в Павловском институте и на педагогических курсах; была замужем за стрелковым офицером. Печаталась в «Семейных вечерах», «Семье и Школе», «Детском Чтении» и др. Главная героиня ее сочинений — Мимочка: «Мимочка-Невеста», «Мимочка на водах», «Мимочка отравилась», это типичная девушка и женщина того времени и той общественной прослойки, которая служила промежуточным звеном между настоящим великосветским обществом — богатым, знатным, привыкшим исполнять все свои прихоти, — и людьми, которым нелегко доставалось стремление стать на одну доску с прирожденными баловнями судьбы. Повести написаны с тонким юмором и полны метких наблюдений над светской жизнью.

в начале 1893 года. Развешанные на стенах с большим вкусом работы русских художников: этюд И. И. Шишкина к картине «Сосновый лес», карандашный рисунок И. Е. Репина «Лошадь с жеребёнком», три работы известного реставратора академика Ф. С. Солнцева, цветную гравюру «Пушкин в Михайловском», поправленную самим Н. А. Ге. Всё — подарки авторов, знаки дружбы и расположения к хозяину кабинета. Есть и несколько картин зарубежных мастеров: «Портрет поэта Данте», «Христос, уколотивший пальчик» и еще какие-то — не разглядеть. Почти целую стену занимают фотографии: матери, трех братьев и двух сестер, второй жены — Екатерины Степановны Бубновой, их сына Андрея — вот он младенец в чепце и платьишке, а вот — в гимназической фуражке. А это сам хозяин кабинета — с воспитанницей Варенькой Долиной. Среди семейных фото замешались портрет Л. Н. Толстого в металлической раме и силуэт «оскорбленной Нетэты», вырезанный руками Е. М. Бём, героини одноименного произведения, которое было создано за стоящим у стены письменным столом. На нем — раскрытая адресная книжка, в которой бисерным, витиеватым, но остро-четким почерком записаны адреса многочисленных друзей, знакомых, чем-либо заинтересовавших ее владельца людей. В эту же книжку он со тщанием вносил множество оригинальных, интересных и редких слов, поговорок, выражений, и даже словесные искажения, употребляемые в разных слоях русского населения, казавшиеся ему забавными и меткими; он с удовольствием затем вставлял особо удачные находки в свои произведения. В книжке дважды записан адрес задушевного товарища хозяина кабинета, легендарного русского изографа Никиты Рачейскова, а в красном углу, в старинном киоте, хранится уникальный «Спас во звездах» работы Рачейскова: светлый Лик Спасителя увит серебряным окладом в виде звезд. Икон в кабинете множество, они всюду, да все старинные, чудесного письма. Есть и два распятия европейской работы. В особых витринках — ящички, обтянутые зеленым сукном, где уютно покоятся «драгоценные» камни, старинные карманные часы, фарфоровые статуэтки и другие мелкие памятные вещицы. Но настоящее богатство, единственно понастоящему ценимое хозяином кабинета — книги, огромное количество книг, мерцающих торцами из глубины шкафов, выдавая

возвышенную страсть их владельца к чтению и собирательству. Не зря сын писал о нем: «Неугасимая любовь к книге жила вне времени и лет (...), отец любил «копаться» в книгах, не расставаясь с ними ни на час».

Есть в чем «покопаться» — три тысячи с лишком томов! Многие помечены штампами «Редкость» или «Редкий экземпляр», на корешках факсимильное тиснение владельца — Н. Л. Ценность этого книжного собрания еще в XIX веке не раз отмечали известные букинисты И. Шляпкин и Ф. Шилов. Внимание посетителя, впервые попавшего сюда, сразу привлекают яркие обложки альбомов живописи. Особенно ценны несколько кипсеков и четыре тяжелых тома *in folio* издания М. О. Вольфа «Картинные галереи Европы», под впечатлением коих хозяин кабинета вписал завязку своего романа «Обойденные» в галереи Лувра. Имеется здесь и великое множество исторических и церковно-житийных, рукописных и старопечатных книг, и даже древние свитки...

Эти книжные сокровища хозяин кабинета копил целую жизнь. Букинистическая *mania* порой брала верх над принятым еще в юности правилом остерегаться расточительства, которого он во всех иных аспектах бытия похвально придерживался. «Тут допускались и оправдывались жертвы, не согласовывавшиеся с другими требованиями жизни», — сознавался он, имея в виду многочисленные дорогостоящие приобретения в книжных лавках, на развалах и с рук частных продавцов. Однажды в Киеве на последние деньги он купил исключительный раритет — «Слово о пьянстве, говоренное сельским священником в одном из близлежащих к Санкт-Петербургу селении», изданное в 1838 году. А ведь в те дни его семейству приходилось туго...

Отдельный шкаф полностью занимают «дары» — книги и журналы с надписями авторов, исполненные славословий в адрес владельца книжных сокровищ. В нижнем ряду горят золотом буквы на форзаце «Художественной энциклопедии. Иллюстрированного словаря искусств и художеств», составленного Ф. И. Булгаковым. На титульном листе начертано: «Многоуважаемому Николаю Семёновичу Лескову на добрую память. Ф. Булгаков, 9 октября 1886 г.»



Так вот кто таков хмурый господин, сочиняющий раздраженное послание!

Николай Семёнович перевел взгляд влево, на овальное зеркало в витиеватой раме, встретился глазами со своим отражением, которое ему в очередной раз ужасно не понравилось — лицо отекшее, глубокие складки у губ — и решительно продолжил:

«Я всеусерднейше прошу Вас знать, что я ничего не хочу и ни за что ни на чей зов не пойду, а у себя мне людей принимать негде и угощать нечем».

Лесков горько усмехнулся и покосился на ломберный столик, придвинутый к дивану, где около получаса назад он вкушал свой, как выражалась горничная-хохлушка, «сниданок». Сниданок, сиречь завтрак, состоял из чашки некрепкого чаю, двух небольших кусочков обсушенного хлеба и вареного яйца, рекомендованного врачом для укрепления сил. Из всего этого «изобилия» он едва одолел лишь чай да ломтик хлеба. Яйцо по-прежнему округло торчало в фарфоровой кокоотнице...

В сентябре 1892 года он написал В.В. Протопопову, что из-за сердечной астмы стал вегетарианцем: «Мне теперь совсем никогда не хочется есть мяса и я вполне доволен простыми и скромными блюдами вегетарианского стола, при котором мои прежние страдания облегчились». А в 1889 году в газете «Новое время» он опубликовал заметку под названием «О вегетарианцах, или сердобольниках и мясопустах», в которой разделил отвергающих пищу животного происхождения на две группы: тех, кто не ест мяса из «гигиенических соображений», и «сердобольников» — тех, кто следует вегетарианству из чувства жалости. «В народе уважают только «сердобольников», — писал Лесков, — которые не едят мясной пищи не потому, что считают ее нездоровой, а из жалости к убиваемым животным». Он взывал к знакомым: «Мяса не ешьте. Это дело в виду у всякого, кто захочет быть к себе внимательным. (...) Подумайте-ка об этом не с рутинерами и с обжорами!.. (...) Моя болезнь (ангина), конечно, неизлечима, но с тех пор, как я не ем мяса (теперь как раз год), — я страдаю меньше, и могу читать, и иногда могу писать. Другое мне ничто не помогало. К вегетарианству я перешел по совету Бертенсона; но, конечно, при собственном моем к этому влечении.

Я всегда возмущался «бойнею» и думал, что это не должно быть так»<sup>4</sup>. В доказательство, что «это не должно быть так», он даже задумал выпустить в том же году вегетарианскую поваренную книгу и — отдельно — свои рассуждения об этике пищи с предисловием «специалиста по безубойному питанию» Льва Николаевича Толстого. Лесков заказал в книжных лавках Петербурга массу литературы по этому вопросу и прочел ее единым духом. Особенно увлекли его выкладки некоего господина Оскрагелло, труд английского доктора медицины Анны Кингсфорд «Научные основания вегетарианства или безубойного питания», а также сочинение немецкого доктора А. И. Бургера «Мясная пища с точки зрения вегетарианца», на которое Николай Семёнович даже черкнул рецензию в «Новое время». Лесков мечтал, чтобы подобные книги выходили и на русском материале, он высказал свои мысли на эту тему в июне 1892 года в «Новом времени», в заметке под названием «О необходимости издания на русском языке хорошо составленной обстоятельной кухонной книги для вегетарианцев». Необходимость издания такой книги Лесков аргументировал «значительным» и «постоянно увеличивающимся» числом вегетарианцев в России.

Призыв Лескова вызвал в русской прессе целую бурю издательских реплик!

Критик В. П. Буренин в одном из фельетонов создал пародийный образ писателя в виде «благолживого Аввы», изрекающего «выдуманные нелепости». Лесков ответил, что «нелепость» не есть плоти животных «выдумана» задолго до Вл. Соловьёва и Льва Толстого, что в рядах древних вегетарианцев числятся Зороастр, Сакья-Муни, Ксенократ, Пифагор, Эмпедокл, Сократ, Эпикур, Платон, Сенека, Овидий, Ювенал, Иоанн Златоуст и многие другие.

Усилия Лескова не прошли впустую: год спустя после начала затеянной им провегетарианской кампании, в России вышла первая вегетарианская поваренная книга на русском языке: «Вегетарианская кухня. Наставление к приготовлению более 800 блюд, хлебов

---

<sup>4</sup> Письмо к А. С. Суворину от 12 октября 1892 года.

и напитков для безубойного питания со вступительной статьей о значении вегетарианства и с приготовлением обедов в 3 разряда на 2 недели. Составлена по иностранным и русским источникам». М.: Посредник, 1894. XXXVI, 181 с. (Для интеллигентных читателей, 27). Травля и насмешки не запугали Лескова: он продолжал пропагандировать вегетарианство. Пусть задуманную поваренную книгу он так и не написал, зато в 1889 году создал первых в русской литературе персонажей-вегетарианцев из числа «сердобольников» — киевлянина Вигуру и его кроткую матушку: «Мати моя добродетельница!.. Чудесная у меня была мати — предобрая и пренепорочная — добром окрытая и в добре повитая. До того была милостива, что никого не могла огорчить, ни человека, ни животного, — даже ни мяса, ни рыбы не кушала, из сожаления к животным. Отец, бывало, спорит: «Помилуй, скажи: сколько ж их разродится? Деваться будет некуда». А она отвечает: «Ну, это еще когда-то будет, а я этих сама выкормила, так они мне как родные. Я не могу своих родных есть». И у соседей не ела: «Этих, — говорила, — я живых видела: они мне знакомые, — не могу есть своих знакомых». А потом и незнакомых не стала кушать. «Все равно, — говорит, — с ними убийство сделано». Священник ее уговаривал, что «это от Бога показано», и в требнике на освящение мясов молитву показывал, но ее не переспорил. «Ну, и хорошо, — отвечала она, — як вы прочитали, то вы и кушайте». Священник сказал отцу, что это все делают какие-нибудь «поныряющие в дома и прельщающие женища, всегда учащиеся и николи же в разум прийти могущие». А мать говорит отцу: «Се пустое: я никаких поныряющих не знаю, а так просто противно мне, чтобы одно другое поедало»<sup>5</sup>. Появились на страницах произведений Лескова и другие герои, отказывающиеся «поедать трупы»: девушка Настя, последовательница Толстого и строгая вегетарианка из рассказа «Полунощники», живописец Плисов из повести «Соляный столб», который, повествуя о себе и своем окружении, сообщает, что они «не ели ни мяса, ни рыбы, а питались одною растительною пищею» и находили, что это для них и их детей предостаточно...

---

<sup>5</sup> Н. С. Лесков. Рассказ «Фигура».

Люди вообще неправильно относятся к еде — об этом он писал не раз: «Землю-то надо обратить в «рай» — в «сад, насажденный богом» (умом). Этика пищи — великий вопрос. Не должно быть голодных и обжор! Теперь 9/10 пищевых продуктов пропадает даром. Неужто это так и следует?» — Конечно, не следует! — опять и опять горячо твердит Лесков.

Персонаж его одноименного рассказа Шерамур, с младенчества жестоко страдавший от недоедания, который даже примятые вишни со своего свадебного венка «сожрал», чтоб драгоценная питательная субстанция не пропала, должен был бы, казалось, за еду душу продать. Ан нет: «чрева ради юродивый» «духом возмутился», увидев, как живут болгары, ради которых русские солдаты гибли в Балканской войне: «... за что он сражается: если у них есть что жрать, то чего же им еще надо? «Черти проклятые!.. с жиру бесятся! к нам бы их спровадить, чтобы в черных избах пожили да мякины пожевали!», а они едят кукурузы вволю «и даже вином запивают, как в Царстве Небесном» — таково было понятие о Царствии Небесном у человека, который в молодые годы учась в Петербургском Технологическом, с голодухи выл по-волчьи: «Когда топить нечем и жрать нечего, завоем, — хозяйка испугается и даст дров и поплеванник — чтобы замолчали». Он опять опустил на корточки и еще раз завыл, но гораздо протяжнее, и в этот раз в этом вое я разобрал слова:

Холодно, странничек, холодно;  
Голодно, родименький, голодно!<sup>6</sup>

И мне стало жутко и больно».

Шерамур — герой, сторяча поначалу несправедливо исключенный критиками и самим Лесковым из ряда праведников, увечеченных в его произведениях: даже добродетель Шерамура писатель заключает в кавычки (цены не слагали его «добродетели»), давая понять, что добродетель эта не вполне добродетельна. В «Новом времени» «Шерамур» появился под общим заглавием:

---

<sup>6</sup> А. Н. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо». Песня калик перехожих.

«Дети Каина. Типические разновидности. Очерк первый. Шерамур. Эпизодические отрывки фатальной истории». Сноска гласила: «Родовые черты этого типа описаны не мною, но я нахожу, что в этом описании есть много не схваченного, а иное слишком обобщено. Мне хочется сделать небольшой опыт — представить несколько особей, составляющих, так сказать, типические разновидности этой не утратившей интереса породы. — Н. Л». «Лесков на этой стадии еще не включал «Шерамура» в число праведников, — пишет автор примечаний С. А. Рейсер. — Не окончательно включен он в их число и в отдельном издании 1880 (1886) года. Заглавие книги — «Три праведника и один Шерамур» это ясно показывает. Лишь в издании 1889 года «Шерамур» включен в этот цикл». С христианской же точки зрения, Шерамур — настоящий праведник, пусть с юродцей, пусть со странностями, а кто из праведников был без юродцы и странностей?

Возмущенный «зажратостью» болгар, Шерамур «выходит» из военных действий, но автор и Ангел-хранитель определяют героя «куда ему и следовало» — санитаром в госпиталь. «И вот наш чудак в первый раз во всю жизнь попал на место по своему настоящему призванию (...): крошке не позволял пропасть, все больным ташил. Сам только «хлебово» ел, а свою порцию котлет солдатам дробил, выбирая, который ему казался «заморенней». Начальство, «сестры» — все им были довольны, а солдатики цены не слагали его «добродетели». Даже которого, говорят, монах на смерть отысповедует, он и тому, мимо идя, еще кусочек котлетки в рот сунет — утешает: «жри». Тот и помирать остановится, а за ним глазом поведет». В этом случае «кусочек котлетки» — отдаленный символ спасительной частицы Тела Христова, которая продлевает жизнь умирающему. Смертельно раненый зрит живое воплощение квинтэссенции заповедей Господних: посторонний человек жалеет его, любит его больше самого себя! Настолько любит, что питается одной мучной болтушкой, отрекаясь от вкусного куска, чтобы порадовать человека последней радостью — не земной, пищевой, а радостью высшей любви и сострадания в миг тяжелого испытания — расставания с жизнью. До работы в госпитале главным для Шерамура было «жвх» — «жрать всегда хорошо». Но соперживая мучающимся и умирающим солдатам, он переосмыслива-

ет свои идеалы, нравственно возрастает. Теперь бывший «герой брюха» «не щадит живота своего» и в буквальном, и в переносном смыслах этого выражения, ради ближнего своего...

Лесков снова взглянул на столик — яйцо по-прежнему матово приманивало белым бочком.

Но есть не хотелось.

Хотелось поскорее закончить письмо и прилечь на старый кожаный диван, давно уже принявший форму его грузного тела, за много лет до полного комфорта «обомятый да обоспатыый», как он сам любил говаривать (хозяин кабинета, а не диван, разумеется; хотя, если бы предметы мебели умели разговаривать, этот диван, будьте уверены, высказался бы о себе в тех же выражениях). Николай Семёнович ощутил вдруг сильный прилив раздражения — один из тех, которые все чаще накатывали на него в последнее время, его «VELO и корчило», как он сам определял это свое состояние. А уж если повело да покорчило — держись, кто бы то ни было, всех размахает по кочкам: будь то издатель Краевский, «зажавший» гонорар, подчиненные Краевского — «лицемерный Кожанчиков», «неослабно ненавистный Феоктистов» и «невежа Свириденко»; нигилисты во главе с Чернышевским, «владелец дум» Катков или даже министр иностранных дел граф Валуев!

От раздражения рука задвигалась по бумаге быстрее:

«Вы окажете мне одолжение, если поможете тому, чтобы меня оставили в покое и, пожалуй, даже в пренебрежении, к которому я, слава Богу, привык и не желаю его обменивать на другие отношения моих коллег, ибо те отношения будут мне новы и, может быть, менее искренны. Старику лучше, то есть спокойнее, придерживаться уже старого и хорошо знакомого».

Хозяин кабинета оторвался от горьких строк, откинулся на спинку полукресла. Редкий лучик петербургского солнца сверкнул на миг, выбив искру из хрустальной грани графина эпохи Петра I, стоящего на письменном столе, перескочил на ручной росписи бокал венецианского стекла, заиграл красками, доставив глазам краткосрочную радость, затем осторожно высветил нежность окраски самоцветных камней на копии «римских колонн Трояна». Миниатюрные Минин и Пожарский, скопированные

с памятника работы И. М. Мартоса, как будто на миг подвернули головы, глянув на Николая Семёновича с удивлением: «Отчего ж ты пал духом, русский человек?!»

Было отчего. Отношение к нему сотоварищей-писателей он ставил весьма невысоко и ни во чью искренность давно не верил. Особенно когда собратья по перу принимались превозносить его талант и заслуги перед отечественной литературой. Тридцать пять лет деятельности на ниве словесности — лакомый кусок для любителей устраивать торжества! А уж если затеются банкеты да юбилеи — обильных фальшивых славословий не избежать, потонешь в них, захлебнешься. Он уже давно пытался противиться такого рода «праздникам», пытался направить «поздравительные усилия» в другое, более разумное, как он считал, русло. Написал статейку «О юбилейном посилье», обратив внимание общественности на возраставшее «неудовольствие, вызываемое изобилием юбилеев»: «Я разделяю мнение тех, кто находит, что юбилеев у нас очень много, и что от них только беспокойство, суэта, расходы, расстройство желудка, празднословие и беспорядок в головах, а прибыль только трактирщикам и виноторговцам. Это все правда, и так продолжать дело, кажется бы, не следовало, но нужно ли хлопотать о том, чтобы совсем вывести обычай поздравить человека, много лет потрудившегося и ненадокучившего собою близким людям? Многие понимают замечания о юбилеях в этом именно смысле, а я думаю, что так не надо понимать. Выразить доброжелательность и приязнь тому, кто честно прожил трудовую жизнь, очень благородно, тем более что для некоторых (например, литераторов) только и есть один день, когда человек слышит о себе ободряющее, ласковое слово. Ради этого можно снести и преувеличение заслуги, которое при этом бывает, и не потяготиться хвалами, которые во всяком случае не залечат всех прежде нанесенных ран и уязвлений».

Лесков вздохнул. Сам-то он в зимний сезон своей жизни не чувствовал в себе сил снести это самое преувеличение заслуг. Слишком болезненно отзывались еще на сердце нанесенные прежде раны и увечья. Не хотелось слышать никаких слов: добрых или злых, от друзей или недругов. Одиночество и молчание — его лучшие друзья.

Прежде он был не таков — напорист, неукротим в желании «принести пользу людям», он был убежден: «Вывести из практики и этот проблеск желания приласкать стареющего товарища было бы несомненной жестокостью: лучше пусть хоть один день в своей жизни человек увидит ласковые лица и услышит добрые слова, чем бы он их никогда не увидел и не услышал». Ему претила бездушная форма, не наполненная искренним содержанием: «Но надо ли справлять юбилеи непременно только так, чтобы пить за обедом здравицы и подносить альбомы или бювары, на которых делают такие затраты, которых эти бесполезные вещи не стоят? Я думаю, что это рутинная и что продолжать их нет необходимости, особенно тем людям, юбилеи которых не пресыщены другими благами жизни. Я думаю, что, когда наш юбиляр страдает до своего старческого дня, нам следует не пропускать этот день без внимания, но надо сделать в этот день то, что юбиляру нужно и полезно. А что юбиляру всего нужнее, это предусмотрено самыми первыми учредителями юбилеев — ветхозаветными евреями: в юбилейный год земля отдыхала, а раба отпускали на волю. Вот смысл юбилеев, ясно показывающий, что нам делать для своих намученных юбиляров: надо бы отпускать их на волю или по крайней мере хоть давать отдыхать (что, другими словами, значит давать им средства к отдыху). Вот, кажется, что должно бы озабочивать и товарищей и почитателей талантливого человека, проведшего свою жизнь за такую работу, которая хотя и шла у всех перед глазами, но ничего не принесла труженику, кроме насущного хлеба, который съеден тогда же, когда выработан, и ко дню престарения или юбилея у него чаще всего нет ничего...»

Вот тут он как в воду глядел — сам к этому пришел. «Дострадался» до юбилея, а н нету у него ничего, не нажил ни денег, ни состояний. Честен и беден. Однако никто не спешит «дать ему средства к отдыху», а все желают именно что «намучить»: наговорить выспренных и фальшивых речей, заставить покорчиться от неловкости и стыда за тех, кто их говорит, и за себя, вынужденного слушать и «внимать», да еще и благодарить. Поучал он, поучал, как поступать следует, а как не должно, но как оглядишься вокруг: полноте, прочел ли кто-нибудь во все эти годы хоть разок его статью?!



Пока мог, сам он делал все возможное, чтобы воплощать свои призывы в жизнь. Правилу не проходить безучастно мимо чужой нужды не изменил ни разу. Когда до Лескова во время пребывания его за границей дошла весть о горестном положении бывшего старшего сослуживца по Орловской уголовной палате И. М. Сребницкого, которому он был в своей жизни многим обязан, в том числе и первым литературным псевдонимом, Николай Семёнович сразу же развернул «акцию» — 2 мая 1891 года послал товарищу страховое письмо:

«Уважаемый Илларион Матвеевич!

Вчера я получил известие о том, что вы тяжело больны и терпите недостатки в средствах. Написал мне об этом человек мне незнакомый, г. Цорн. Мне кажется, что надо, чтобы кто-нибудь из близких к вам людей сделал складчину от людей, готовых помогать вам, и я просил бы его и меня считать в числе одного из таких. Так это у людей делается, и всем выходит удобно. Постоянная помощь вас бы успокоила. Пока же — позвольте мне послать вам на насущные надобности двадцать рублей. Искренно вас любящий и уважающий...»

Вслед за Цорном обратился к нему и другой орловский товарищ, видный губернский чиновник — В. Л. Иванов. Лесков ответил немедленно, на другой же день, 28 июня 1891 года:

«Об Илларионе Матвеевиче вы пишете верно. У нас не умеют помогать друг другу. Я это знаю, но я насмотрелся, как это делают другие, и все хотел бы это применить. Гамбетте, и тому клали франки на камин. Есть простое понятие: когда человек болен, значит, он не может работать, и потому, следовательно, он нуждается. И вот приходящий посетитель его кладет «сколько может». Наши мужики и теперь это часто делают: они несут кваску, речечки, каши, или баба приходит «потрудиться». Компанию очень легко помочь одному, а порознь очень трудно. О благотворительных обществах я не говорю: это — вздор, и притом, несомненно, очень вредный. Но я верю, что и складчину у нас сделать очень трудно, и, однако, радуюсь, видя из вашего письма, что она у нас все-таки сделалась: вы, да я, да Цорн, да Ветлиц — вот и складчина; все-таки думается, что старик наш будет иметь угол и чай. Я буду присылать вам на надобности Иллариона Матвеевича по 5 рублей в месяц и пер-

вый взнос мой пошлю завтра же, когда поедут от меня в Мерекюль, где есть почтовый прием. Я буду посылать за 2 месяца вперед и надеюсь, что это будет идти аккуратно. Более же я ничего сделать не могу, именно по тому самому, что и вы приводите в расчет... На каждом немало разных обязательств. Эту свою должность мы и должны повести, как теперь сами между собой постановили...»<sup>7</sup>

А ведь тогда еще не было таких хороших литературных заработков, какими так нынче похваляются молодые писатели, среди которых уже есть «и капиталисты и даже сибариты». «Мы тогда работали очень много и очень старательно, но получали мы мало, а часто и вовсе ничего не получали», — сетовал он в одном из рассказов о судьбе литератора-современника. Почему? Хозяин кабинета горько усмехнулся. На этот вопрос он ответил честно, за что на него злобно обрушилась и «либеральная» критика, и консервативная. А написал он правду: «Сами бедняки, мы нередко сотрудничали «из чести» у очень необеспеченных издателей, которым, однако, мы считали за обязанность помогать «по сочувствию к хорошему направлению». Некоторые из этих благородных предпринимателей скоро сообразили, что из наивного настроения искренних писателей можно извлечь выгоды, и они этим воспользовались (кто хочет лучше с этим познакомиться, пусть прочтет переписку Д. И. Писарева с Г. Е. Благовестовым)». «Люди бедствовали при своих ничтожнейших заработках, которых притом еще часто нельзя было получить из тощих касс редакций». Если они и ссорились друг с другом, то только из-за убеждений, а в отношении материальном были бескорыстны, каждую копейку делили с товарищем. Таково было их воспитание: о батюшке его, Семёне Дмитриевиче, окружающие говаривали, что он-де «отличался глупым бессребреничеством», и сын его в полной мере унаследовал сию столь неудобную для комфортного существования черту. «Преломи свой хлеб и даждь вторую половину голодному!» И если вдруг упускал кого-то из виду, закрутившись с собственными заботами,

---

<sup>7</sup>Эта складчина неуклонно продолжалась до кончины Сребницкого 6 сентября 1892 г.

очень переживал и стыдился, как будто был в чем-то перед этим человеком виноват. «Жило в Лескове, — вспоминал его сын Андрей, — еще одно очень ценное, незаслуженно мало отмеченное и едва ли не призабытое свойство — неиссякаемая и неустанная потребность живого, действенного доброхотства. Здесь он отрешался от своей широко известной суровости, как бы преображался, а случалось иногда — и «возносился». Где-то в глубине его непостижимо сложной души таилась живая участливость к чужому горю, нужде, затруднениям, особенно острая, если они постигали работников всего более дорогой и близкой его сердцу литературы, членов их семей или их сирот». Рассказ «Дама и фефела» сын-биограф назовет произведением «всего менее мемуарного характера» в отношении описанных в нем событий, но чувства автора, несомненно, были самыми подлинными.

«На другой же день Праша пришла ко мне с ребенком на руках и сказала:

— Не обижайтесь на меня, что я с ребенком пришла. Не на кого его оставить. Посоветуйте: как мне быть?

Она меня сконфузила: я видел, что мы не сделали после смерти товарища самого важного дела: мы не подумали об этой женщине и о ее ребенке, и к этой оплошности я прибавил другую, еще худшую и даже достойную строгого осуждения: я заговорил о том, чтобы отдать этого ребенка, а Праша, которая стояла передо мною, от этого так страшно побледнела, что я упросил ее сесть, и тогда она сейчас же заговорила:

— Отдать дитя навсегда... ни за что!.. Слов нет, я сама виновата, — ну, все же я могу об нем и обдумать. В этом доме, где я вчера угол взяла и мы там ночевали, там бабы живут и ходят шить мешки. И я могу шить мешки, но его туда с собой нельзя брать.

Она прижала к себе ребенка и залилась слезами.

У меня в тогдешнее время не было никаких запасов, которыми я мог бы поделиться, и все, что я мог бы дать бедной Праше, это было пять рублей. Я просил ее взять это пособие и идти пожить на квартире два-три дня, пока я испробую, нет ли возможности устроить для нее с ребенком какую-нибудь новую складчину».

«В этой области все делалось без чьих-либо просьб или обращений, по собственному почину, чутью, угадыванию, движению,

органическому влечению, нераздельному с большим жизненным опытом, навыками, чисто художественным представлением себе положения человека, впавшего в тяжелое испытание, беду. Немного знает литературная летопись его времени таких заботников о неотложной помощи нуждающемуся товарищу, каким неизменно всегда бывал Лесков», — восхищался отцом Андрей Николаевич. Причем помощь оказывалась чрезвычайно деликатно: рассказчик от первого лица из «Шерамура», писатель, тайно под столом потискал голодному своему протеже ладонь пятифранковой золотой монетой, и тот благодарно принял вспомоществование, поданное таким неоскорбительным для его гордости образом. Помогал Лесков и тем, с кем когда-то враждовал, а затем подружился; и тем, кто много ему навредил, но получил прощение в тяжелую для «вредителя» минуту; и ближним, и дальним; «если страдал литератор — колебания не допускались, личные счета отпадали, — писал сын. — Тут в пример брался Голован, который «ломал хлеб от своей краюхи без разбору каждому, кто просил». Собрать деньги; поместить больного в лечебницу<sup>8</sup>; помирить с редакцией<sup>9</sup>, «выправить» или «проправить», не хуже своей собственной, чужую «работку» и «пристроить» ее в печать; добыть потерявшему место «работишку»; выпросить принятие юноши, исключенного из одной гимназии с «волчьим паспортом», в другую; выхлопотать в мертвенном Литературном фонде пособие; поместить в богадельню беспомощную литераторскую нищую вдову<sup>10</sup>; уговорить на складчину для взноса за «право учения» исключаемой из последнего класса гимназистки, — на все такие и схожие хлопоты он всегда первый, неустанный старатель. Охотно участвуя почти во всех подписках,

---

<sup>8</sup> Заметка о болезни В.П. Бурнашева. «Новое время», 1887, №4201, 8 ноября; «Больной и неимущий писатель». «Петербургская газета», 1887, №323, 24 ноября; «О литературных калеках и сиротах». Там же, 1887, №326, 27 ноября.

<sup>9</sup> Гусев С. Мое знакомство с Н.С. Лесковым. «Исторический вестник», 1909, №9.

<sup>10</sup> Вдову С.И. Турбина, Анну Доминиковну Турбину. Письма Лескова к М.И. Михельсону от 19 и 22 сентября 1884 г. (Пушкинский дом) и к В.П. Гаевскому от 16 октября 1884 г. (Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина).

он дарит в сборники полноценные свои работы, твердо отказываясь, однако, давать «на камень, когда есть нуждающиеся в хлебе живые».

Андрей Николаевич навскидку перечисляет тех, кого отец «выправлял и в языке, и в строении, и даже в синтаксисе работ»: «Тут и Артур Бенни с его неудобонаписанной статьей о мормонах<sup>11</sup>, и С. Н. Терпигорев, которому он «изметил, соответственно, не в обиду» своими «нотатками» его рассказ<sup>12</sup>, и, нетвердый на перо, особенно в борьбе с причастиями и деепричастиями, «МИП», то есть М. И. Пыляев с его пестро наборными сооружениями — «Старый Петербург» и «Старая Москва»<sup>13</sup>; и вдова писателя А. И. Пальма (Альминского) Е. А. Елшина, первый (он же, может быть, и последний) повествовательный опыт которой Лесков терпеливо преобразил, переозаглавил и под красивым псевдонимом «Антонина Белозор» тиснул в газете! Да всё и не перечесть! Всем, всегда литературная услуга оказывалась охоче, деловито, им — лестно и прибыточно, себе — работно и хлопотно».

Еще двадцатью годами ранее княгиня Долгорукова<sup>14</sup> горячо благодарила его за письмо, которое ее «воскресило», а в другой

---

<sup>11</sup> «Несколько слов о мормонах». «Русская речь», 1861, № 68. «Загадочный человек».

<sup>12</sup> Письмо Лескова к Терпигореву от 15 ноября 1882 г. Пушкинский дом.

<sup>13</sup> Шукинский сборник, письмо Лескова к М. И. Пыляеву от 30 августа 1888 г.

<sup>14</sup> Долгорукова Наталья Борисовна (1711-1771 гг.), дочь фельдмаршала гр. Б. П. Шереметева. Невеста Петра II, после его кончины вышла замуж за опального князя Долгорукова, а через три дня они отправились в ссылку в Берёзово, где родился их сын Михаил. Первые годы ссылки были легки: она писала свои «Записки», тягости смягчались любовью мужа и сына. В 1738-м князя увезли из Берёзова, у Натальи родился второй сын Дмитрий, страдавший тяжким недугом. В 1739 г. по смерти мужа Долгоруковой позволено было вернуться. Именно в ту пору она обратилась к Н. С. Лескову. Он помог с публикацией «Записок», занимающих видное место среди литературных памятников первой половины XVIII в. Помимо характеристики нравов царствования Анны Иоанновны, «Записки» — прекрасный образец душевной исповеди, написанной просто, но с большой силой и подкупающей искренностью, что очень нравилось Лескову.

раз прямо написала: «Обращаюсь к вам потому, что *у вас легче просить вашего, чем у других своего!*»

Помощь и подаение — в любой форме, от малой милостыни нищему у церкви до организации «подписки миром» на пожизненное содержание больных, престарелых, младенцев. «На сухое доктринерство, что всякое подаение развращает, Лесков, дав волю порезонерствовать строгим моралистам и оставляя в стороне оценку их доводов, как бы обращался мысленно к прошлому. Воскресив что-то в его глубинах, он задумывался, а немного спустя спрашивал: «Значит — не давать? Может быть!.. Пройти?.. Пожалуй... Только я всегда вспоминаю покойного Тараса Григорьевича Шевченко. Рассказал он нам как-то, вот при таком же споре, как шел он раз поздним часом, в дождь и непогоду, к себе на Васильевский остров по Николаевскому мосту. Протянул ему какой-то горемыка руку, а Шевченко, поленись расстегиваться да лезть в далекий карман, прошел мимо... Идет и идет, хотя и не по себе стало, на душе скребет что-то. Однако все идет. И вдруг слышит позади крики, беготню: оглянулся — видит, к перилам люди бегут и в пустое место руками тычут, а того-то, что две-три минуты назад просил, на мосту-то — и нет! С тех пор говорил он, всегда даю: не знаешь — может, он на тебе предел человеческой черствости загадал... Ну, — примиряюще, мягко оглянув собеседников, заканчивал свое выступление Лесков, — памятью Тараса, и я — не прохожу...»

Почти всегда он опережал свою помощью «бездушный, казенный, сановный» Литературный фонд, много раз резко осуждал эту организацию за бюрократизм и медлительность, и то и дело, негодуя, собирался выйти из его состава: «Человек призван помогать человеку в том, в чем тот временно нуждается, и помочь ему стать и идти, дабы он, в свою очередь, так же помог другому, требующему поддержки и помощи. Это же и у Смайльса (книга «Долг», то есть обязанности). И я надеюсь, что никто не обличит меня в том, чтобы я когда-либо отказался от исполнения этого человеческого долга. Но я нигде, кроме католического катехизиса, не слышал о долге накапливать суммы во имя кого-то умершего, дабы потом ими орудовать в филан-

тропическом духе, да еще вдобавок по усмотрению особого учреждения, и притом такого, смею сказать, лядащего, пристрастного и мертвого учреждения, как Литературный фонд... Теперь это выходит уже какая-то чистейшая глупость, к которой я не имею никакой охоты присоединяться. Я могу допустить, чтобы Литературный фонд был исполнителем выдач, мною указанных, но чтобы я дал мой труд в распоряжение этих приказных, — нет, слуга покорный!.. Я не признаю за ним ни доброты, ни ума, ни чистосердечия и никогда нигде не скрываю моего совершеннейшего неуважения к этому обществу. И вот об этом-то я стану хлопотать, чтобы католически капитализировать сумму доброты для того, чтобы вверить ее в руки Фонда?!. Ах, как это хорошо и как совершенно пошло! — Нет, я на это не пойду, да и другим бы не советовал (...) ни на какие комбинации, — особенно с Литературным фондом, — я не только не пойду, и им не сочувствую и их осуждаю не только как бесполезные, но прямо как вредные. Лезть к обществу в карман часто не следует. Сегодня лезут «по поводу Гаршина», не зная еще на что, а завтра может явиться что-нибудь вопиющее вроде Лиды, Кущевского, Решетниковой или Бурнашева... И тогда опять лезть, опять просить?! А не скажут ли нам: «Брысь! Надоели». — Словом, эта затея жалка мне, и очень жалко, что за нее взялись добрые ребята. Иначе стоило бы их поставить перед зеркало разума на всей красоте, не стесняясь плюнуть в бороду Фонду, который уже не раз обтирался от заслуженных им плевков. (...) Помощь нужна старцам, детям, больным, холодным и голодным. Надо приставить человека к возможности трудиться и зарабатывать, а немощного питать. Более ничего, ничего и ничего!»

Не чая фондовых подаяний, Лесков «снял шапку перед миром», прося в печати «добрых людей» помочь такому-то или такой-то. «Таким путем ему удалось, например, собрать на воспитание дочери умершего Пальма около четырех тысяч рублей, когда Фонд еще и не пошевелился». Просить деньги приходилось у тех, у кого они были, а «на золоте едавшие» были далеко не всегда людьми милосердными и приятными. Взывать к совести богатых, чтобы хоть крохами со своего обильного

стола поделились с бедствующими, было делом неблагодарным. Миллионеры-золотопромышленники Сибиряковы грубо отказали раз и навсегда: просим больше с записочками к ним никого не присылать. «Брысь! Надоел!» Да и сегодняшний адресат, когда-то черпнувший горя и нужды с лишком, а ныне весьма заживевший издатель, однажды, выругавшись, обвинил Лескова чуть ли не в вымогательстве. Николай Семёнович ответил: «То, что я вам писал о нищете Соловьёва-Несмелова, лежавшего в окровавленных лохмотьях, не было «шантаж». Если бы вы тогда захотели узнать, что это было, — вы бы не сделали одного очень прискорбного дела, о котором надо жалеть. Меня же вы не обидели. Такой укоризной меня обидеть нельзя»<sup>15</sup>.

На самом деле было очень обидно. Многие не верили в его доброту, в искренние сердечные порывы: ведь Лесков то и дело публиковал «полные яда и неослабного озлобления» выпады в отношении «полудрузей» — того же А. С. Суворина, например, его сегодняшнего адресата, письмо к которому по-прежнему лежит на столе недописанным. После язвительных эскапад люди считали себя вправе разувериться в его хорошем к ним отношении. А он и не хотел показной доброты, не хотел быть «добреньким», он был добр в глубинном смысле этого слова, и это в нем проявлялось деятельно и горячо, но скрытно. Другие же, неприятные свойства его характера, «бросались в глаза», окружающим они казались главными, первостепенными. И кто же страдал от этих дурных свойств его характера в первую очередь? Да он сам! Они тяжко сказывались на его судьбе, щедро умножая «злострадания», коими изобиловала его жизнь...

Николай Семёнович тяжело вздохнул. Ничего, «злострадания» можно и потерпеть, ему не привыкать. «Когда самому худо, тогда поспеши к тем, кому еще хуже, чем тебе», — говорила кроткая матушка Фигуры. Надо будет, так он снова пойдет пороги обивать, чтобы облегчить жизнь терпящему нужду человеку, хотя бы «на первое время, пока человек

---

<sup>15</sup> Рассказ «Материнские тайны» с напутственным письмом Лескова в редакцию. «Новости и биржевая газета», 1886, № 241, 248 и 255 от 2, 9 и 16 сентября.



обернется, пока у него что-нибудь «образуется». На белом свете, да что далеко ходить — рядом, куда ни глянь, люди переносят страшные скорби и бедствия, кругом плач и горе, а они затевают юбилеи устраивать! Тянутся подражать купцам, офицерам, крупным чиновникам и другим особам высокого положения и достатка, затевают банкеты, которые только оперные певцы себе могут позволить, «чувствуя живых и усопших». Порядочному литератору и глядеть-то в ту сторону не следует. «Ни для кого не секрет, что литературные занятия не приносят больших выгод и что писатели должны жить без излишеств, часто даже бывают знакомы с большими недостатками. Скрывать этого и нет нужды: **писательская бедность по большей части есть настоящая честная бедность, которой нечего ни перед кем стыдиться** (выделено мною. — Н. Л.). И я хотел бы убедить в этом своих товарищей по литературе для того, чтобы у нас изменилось отношение к празднованию юбилеев наших собратий и чтобы мы отошли в сторону от общей рутины праздновать юбилейные дни едой да здравицами в трактирах, а начали бы заботиться о том, чтобы придти к стареющему другу с тихим приветом, да и с посылем на отдых... Я не дерзаю указывать способы, как и что надо бы делать, но я указываю направление, в котором полезно переделать юбилейные заботы, а не отменять их, чтобы ничего не было. Торжествовать на юбилеях наших людей трудно; тем, кто привык вдумываться, на этих торжествах всегда бывает тяжело... Тут бы, кажется, не торжествовать, а разве каяться да просить друг у друга прощенья с зарокон не делать того вреда, который многие друг другу сделали. Это было бы гораздо теплее и искреннее, но этому, конечно, теперь еще не бывать... Другое дело — заменить чахлое, искусственное «торжество» полезным посылем: это нам стоит только захотеть, и мы можем в значительной мере приспособить юбилейный день к облегчению хоть нескольких впереди стоящих дней его жизни».

Таковы были его идеи о «юбилейном посыле». И что же, сегодня кто-нибудь спешит «облегчить хотя бы несколько впереди стоящих дней» автора этих выстраданных строк? Нет, не спешит. Так что пора закруглять послание — да и Бог с ними со всеми!

«Я уверен, что Вы не усумнитесь в искренности и в твердости моего отказа и скажите это, если к Вам отнесутся с какое-нибудь затеею в этом роде».

Перо на миг зависло над бумагой, затем припало к ней под особым острым «лесковским» наклоном и быстро вывело:

«Преданный Вам  
Николай Лесков».

Николай Семёнович запечатал письмо, отложил его в сторону и позвонил в колокольчик. Горничная взяла с края стола пакет, унесла. Хозяин кабинета наконец с облегчением перебрался на диван, прилег. И вдруг понял: его послание Суворину мало чем отличается от такого же письма в редакцию, писанного пять лет назад, и десять, и пятнадцать...

«Мне стало известно, что друзья мои из литературной и артистической среды положили устроить мне праздник по поводу совершившегося тридцатилетия моих занятий литературою...» Порыв друзей вызвал у него ужас: «Избави Бог нас от друзей, а от врагов мы и сами защитимся». Нет, нет, спохватился он тогда, я неправ, многие люди были ко мне добры, неблагодарность — величайший грех, и он публично обратился к тем, кого любил, и к тем, кого не слишком хотел видеть на своем юбилее: «Такое внимание меня глубоко трогает, и я затрудняюсь найти соответствующие слова, в которых мог бы выразить в полноте то, что чувствую». Да, затруднился, но не потому, что не нашел слов — именно слова были его друзьями, он любил их, они сами собой всегда легко подсказывали ему под перо целыми веселыми компаниями, чуть он окунал перо в чернильницу. Просто он уже тогда тяжело хворал...

Боль в желудке затихла, затаилась; зато камень в груди, который он носил уже давно, перевернулся, кувыркнулся, и глыбой придавил сердце. Врачи — и он сам вслед за ними — называли его болезнь «неизлечимой ангиной». Тогда еще они не знали подлинного ее имени...

Николай Семёнович закрыл глаза. Камень мешал дышать, грудная клетка как будто была набита ватой: расширялась с трудом,

воздухом заполнялась неполно, а в этой непробиваемой для спасительного кислорода вате то и дело лопались стеклянные пузырьки — в легких тут и там оседали мелкие, причиняющие боль, осколки. Страдание причиняла не только физическая боль. Больно было и «окинуть памятью все, что, как он написал далее, мне пришлось пережить и перечувствовать в тридцать лет (а теперь уже и в тридцать пять) моей литературной жизни». «Мне не только не легко и не приятно, но это очень тяжело и даже мучительно», — написал он, накануне ночью перечитав язвительные комментарии критика «Новостей» А. М. Скабичевского на свои повести «Аскалонский злодей» и «Зенон-кузнец», заново пережив горечь и обиду на несправедливые упреки. А еще он припомнил, как в 1889-м «благодетельное учреждение» арестовало VI том собрания его сочинений, состоящий из вещей, которые уже давно и не раз побывали в печати. «Какое терпение надо нашему бедному человеку!» — с горечью написал он тогда В. А. Гольцеву. Одно причиняющее страдания воспоминание наплывало на другое...

Нет уж, увольте!

Николай Семёнович умолял «всех известных и неизвестных друзей» «явить снисхождение» и «оставить без исполнения вполне неудобную в моем состоянии мысль об устройстве мне юбилейного праздника, так как он был бы для меня величайшей тягостью». И подарков никаких не ждал и не желал: «С меня слишком довольно радости знать, что обо мне добром вспомнили те люди, с которыми я товарищески жил, и те читатели, у которых я встретил благорасположение и сочувствие. «Сие едино точию со смирением приемлю, благодарю и ничесо же вопреки глаголю». Был только один подарок, тронувший его. Этот подарок сделал П. В. Быков, который составил «Библиографию» произведений Лескова. Сам Николай Семёнович своих публикаций и критических статей на свои произведения не собирал, как то делали некоторые собратья по перу, вырезая из газет и журналов и переплетая отзывы «о себе, любимом» и свои собственные публикации в особые книги. Так что когда встал вопрос о выходе собрания сочинений к двадцатипятилетию творческой деятельности Лескова, «Библиография» оказалась

очень кстати<sup>16</sup>. Журналисты же, по своей привычке, извратили и этот факт: в «Новом времени» напечатали заметку г-на Петербуржца, что-де о заблаговременном составлении «Библиографии» «похлопотал сам юбиляр». Приблизительно в этом же духе высказался в газете «День» и Фаресов. Уязвленный Лесков ответил: «Я очень признателен г. Петербуржцу и г. Фаресову за их внимание к моей «Библиографии», но прошу у вас позволения сделать к этим известиям поправку, которая имеет свое значение в возбужденных теперь разговорах о «литературных юбилеях и подарках». Я не желал бы, чтобы кто-нибудь подумал, что «Библиография» моих сочинений есть подготовка к празднованию моего юбилея. Двадцатипятилетие моей литературной деятельности уже прошло. Два года тому назад некоторые из небольшого числа моих литературных друзей желали чем-то ознаменовать этот день, и об этом тогда проскользнуло известие в «Еженедельном обозрении». Я тотчас же отклонил эту затею и напечатал о том заявление. Друзья мои смилостивились и оставили меня в покое. С тех пор никаких сборов к празднованию моего юбилея не было, нет теперь и не должно быть вперед, так как я считаю это для себя неудобным, незаслуженным, ненужным и ни под каким предлогом ничего подобного никогда не приму. Но и о «Библиографии» своей я тоже не «хлопотал». Она появилась совсем иначе: без моего участия. И деятели и свидетели этого происшествия все налицо и все известны в литературном круге.

Насчет своих литературных работ я всегда был так же беспечен, как и другие, и когда, по весне 1888 года, возникла мысль об издании собрания моих сочинений, то я увидел себя в крайнем затруднении: как обозреть свои собственные работы

---

<sup>16</sup> Речь идёт о брошюре П. В. Быкова «Библиография сочинений Николая Семёновича Лескова с начала его литературной деятельности — 1860 г. по 1887 г. (включительно)», СПб, 1889 год, количество экземпляров — 100, из коих в продажу поступили 50. Позднее эта работа, значительно дополненная, была присоединена к собранию сочинений Лескова — «Библиография Н. С. Лескова. За тридцать лет (1860-1889)».

и как сделать из них соответственный выбор? Тогда молодые писатели Ф. Ф. Александров, В. И. Бибиков и И. И. Ясинский посоветовали мне обратиться к П. В. Быкову, у которого будто бы отмечены все мои работы. Я был этим удивлен, но обратился к г. Быкову, который пожелал мне сделать литературный товарищеский дар — он сам безвозмездно составил и прислал мне «Библиографию» моих сочинений — дар, глубоко меня тронувший и чрезвычайно мне приятный и полезный.

Таково происхождение моей «Библиографии», о которой я немало не «хлопотал», а которая досталась мне как литературный подарок от товарища, сумевшего сделать для собрата самый дорогой и приснопамятный подарок. Я эту «Библиографию» напечатал на память себе, для раздачи друзьям и пустил несколько экземпляров в продажу для тех немногих людей в публике, которых это может поинтересовать.

Во всем этом достоин внимания и воспоминания, а может быть достоин и подражания, пример П. В. Быкова, благодаря которому я имею «Библиографию» моих работ. Дар этот сделан мне этим литератором по одной только литературной дружбе, и тем он мне бесконечно дорог.

Пользуюсь этим случаем, чтобы гласно выразить П. В. Быкову мою искреннюю благодарность за его настоящий литераторский дар товарищу».<sup>17</sup>

А сегодня — всё прочь: собрания сочинений и библиографии, доброжелателей и критиков. Теперь он просто больной старик. Как скоро, как стремительно прошла жизнь! А ведь совсем недавно он был юным, худым, легко дышащим! «Резвеньким»... По любимой пословице «на тихеньких Бог нанесет, а резвенький сам набегит», он то и дело «набегал» на горе да на беду, часто, ох, как часто! И все это было так недавно. Кажется, еще вчера...

Николай Семёнович открыл глаза: на стене, над диваном, нашел взглядом фотографию в кустарной рамке, переснятую с нехитрого акварельного рисунка художника К. Шульца,

---

<sup>17</sup> Письмо в редакцию «Товарищеский подарок». Собр. Соч. т. 11, стр. 238. 1958 г.

внизу которой виднелась полувыцветшая надпись: «Господский дом в селе Горохове, Орловской губернии, в этом доме родился Николай Семёнович Лесков и тут же проведено его детство». Тут же пришел на память найденный недавно при разборе архивов крошечный набросок, уместившийся на одной странице писчей бумаги. Озаглавлен сей опус был весьма помпезно «Убежище. Роман. Из записок Пересветова», и начинался так: «Я родился в 1831 году в семье своей первенцем. Матушка моя, принадлежавшая в юности к числу деревенских барышень, которые в то время знали наизусть очень много стихов, втайне делала по случаю моего рождения очень для меня лестное и поэтическое сближение. В этом году Лермонтов написал своего «Ангела», и старшая сестра моей матери, бывшая замужем за важным сановником в Петербурге, вместе с поздравлением по случаю моего рождения прислала списанное ею стихотворение: «Он душу младую в объятиях нёс для мира печали и слёз... и звуков небес заменить не могли ей грустные<sup>18</sup> песни земли».

Лицо Николая Семёновича посветлело, смягчилось.

Стол, стулья, картины, зеркало на стене — все слилось в один многоцветный мутный туман; завертелось, вспыхнуло и рассеялось, делая пространство вокруг погруженного в забытие человека огромным, дивным, разноцветным, спасительно насыщая его радостным жизнетворящим кислородом.

Лесков задышал глубоко, легко.

Милосердная Рука Божия погрузила его в спасительный сон, наполненный яркими картинами его детства и отрочества.

---

<sup>18</sup>У М. Ю. Лермонтова — скучные.

## Константин Гришин

Родился в 1986 году. Окончил Алтайский государственный университет по специальности «Филолог. Преподаватель».

Публиковался в журналах «Урал», «Litera Днепр», «Крещатик», «Знамя». Автор книг «Красноармейский проспект» (2010), «Для внутреннего пользования» (2014), «По всему Транссибу» (2018).

Состоит в Союзе российских писателей. Живет в Барнауле.



\*\*\*

Я навещу тебя без повода,  
Товарищ одинокий мой.  
Зачем оказии и доводы  
Душе моей береговой?  
А жизнь высоковольтной линией,  
Где ты на проводе сидишь.  
Зачем нам кипарисы, пинии?  
Наш дом — у озера камыш.

\*\*\*

Я гуляю предзимним проспектом,  
Не пленён петербургской тоской.  
Отвяжись, эмигрантская секта —  
Моя родина крепче со мной.  
Буду тем я любезен народу,  
Что фактический космополит.  
Я люблю безответно природу,  
И вдали моё сердце болит.

\*\*\*

На минувшей неделе  
Падал хлопьями снег  
На дворцы и отели,  
На бичей и калек.  
Так легко начинался  
Вечер трудного дня:  
Мегафон надрывался  
За тебя и меня.  
Эта музыка века  
Никогда не умрёт.  
Пой скиты и аптеки,  
Продвигайся вперёд.

\*\*\*

Не бойся холода и скуки,  
Пока Господь тебя хранит  
И чьи-то молодые руки  
Включают для тебя софит.  
Смотри в окно: там только ветер,  
Качели, дети, грязный снег...  
Ты не одна на этом свете.  
Не замышляй пока побег.

\*\*\*

Уйти в свободное паденье,  
Как птицы или облака.  
Я был мерцанием и тенью,  
Подмёткою для башмака.  
Провала нет, и нет полёта,  
Ни ямы, ни вершины нет.  
И всё же нужен для чего-то,  
Как этот негасимый свет.



\*\*\*

Осени меня крестным знаменем, проводи на решительный бой. Пронеси эту чашу моления: я пока что дружу с головой. Наблюдает всевидящим оком православный иконостас, как студент, ополченец и отрок уезжают на русский Донбасс.

\*\*\*

Семафоры, дорога простая,  
Да и песня без всяких затей:  
Выбирай себе белую стаю,  
Выбирай себе чёрную стаю  
В лёгкий август, месяц смертей.  
И недаром об этом поётся,  
И недаром об этом поют:  
Хорошо просвещённый смеётся  
У отравленных ядом колодцев,  
Наблюдая вечерний салют.  
И пират, и отшельник, и странник  
Открывают свой искренний путь.  
И не поступью загнанной лани,  
Не в каморке, не на диване...  
Надо вовремя только свернуть.

\*\*\*

...Здесь метался в бреду Достоевский,  
Шершеневич обрёл свой покой,  
Но девчонки мечтают о Невском,  
Презирая любимый конвой.  
Петербурженки и северянки  
И профлист, и цемент продают,  
И у них пять шагов до Фонтанки,  
И нездешний, прекрасный уют.

\*\*\*

Тисками сковано пространство  
И различимы песни льда.  
Себя озябшим иностранцем  
Я ощущаю иногда.  
Точны осенние приметы,  
Прекрасны золото и хна.  
И понимаю напоследок,  
Как интересна тишина.

\*\*\*

Не боги горшки обжигают —  
Гончар, прорицатель вещей.  
Да, я из Алтайского края,  
Краснею всегда до ушей.  
Я тихо мету перекрёсток,  
Пушинки ловлю на ладонь.  
Я маленький русский подросток,  
В котором лишь бледный огонь.

\*\*\*

Мне пишет лишь пресс-служба министерства.  
Я не полковник, мне не по чинам.  
Своё родство и скучное соседство  
Ежесекундно проклиная сам.  
Я не хотел свободным журналистом  
Плыть за туманом, запахом тайги,  
Шагать ради трёх строк в блокноте чистом,  
Среди метели, снега и пурги.  
Что я хотел? Лишь обонять природу,  
Читателем остаться навсегда.  
Но я умру за право и свободу.  
Есть в сердце путеводная звезда.

\*\*\*

Июльский туман по низинам,  
Июльская злая тоска  
Бегут, как Сергей и Марина,  
От камня, воды и песка.  
И я удаляюсь с проспекта,  
Ныряю в туман с головой.  
Меняю отчизну и сектор —  
Я, маленький, добрый, живой.

\*\*\*

Опять зачистка Гудермеса,  
И Яндарбиев, и Хаттаб.  
Истлела памяти завеса,  
И детство выползло, как краб.  
Бубнит печальный телевизор  
О том, что юных не вернуть.  
Синицы бродят по карнизу.  
Крестьянин обновляет путь.

\*\*\*

В нашем крае, аграрном и странном,  
Где так вольно дышать торгашам,  
Развлеченья просты и туманны:  
Это «Лента», «Магнит» и «Ашан».  
Мы по акции купим пельмени.  
Тротуар — это звёзды на льду.  
И на площади бронзовый Ленин  
Прояснит ориентир и мечту.

\*\*\*

Вокруг высотки, новостройки  
И психбольница, и тюрьма,  
Синицы, воробьи и сойки,  
Родной России закрома.  
Здесь продаётся вдохновенье,  
И сетка-рабица, и лён.  
И слышит ангельское пенье  
Индустриальный твой район.

\*\*\*

У городской клинической больницы  
Я с главврачом наговорился всласть.  
Журчал фонтан, и звонко пели птицы.  
Одна из них на небо вознеслась  
Пушинкою в том фильме про спортсмена:  
Американское заштатное кино.  
Саднило сердце, тонко ныли вены,  
Что нет свободы. Той, что у неё.

\*\*\*

Ритмы русские плещутся в сердце  
И восторга уже не унять.  
Я диктую весёлое скерцо:  
Открывайте простую тетрадь.  
Самым юным из вас будет сорок,  
Когда я, хрестоматии гость,  
Стану эхом чужих перепонок,  
Пригвождённый к России насквозь.

\*\*\*

Ты отличница и партизанка,  
У тебя озорной прищур.  
В прошлой жизни горела в танке,  
И писала отвязный сюр.  
В современных сечёшь мотивах,  
Зарифмуешь свою тоску.  
Продвигаешься терпеливо  
К яркой славе — по волоску.

\*\*\*

До мечты — стены Поднебесной —  
Есть дорога в тысячу ри.  
Что я праздную? Только трезвость.  
И сегодня мне тридцать три.  
Не звонит телефонный зуммер,  
Я спокойствию только рад.  
Русский логос ещё не умер,  
Русской лирики я солдат.

\*\*\*

Как это прекрасно и странно —  
За окнами падает снег.  
Ты ходишь одна, без охраны,  
Идёшь, опираясь на стек.  
Смотри в неоглядное небо,  
Мерцающее по краям.  
Так нищий не может без хлеба...  
Тебя — никому не отдам.



## Анатолий Кирилин

Родился в 1947 году в Барнауле. Автор двенадцати книг прозы и публицистики, изданных в Сибири и Москве. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Алтай» и др. Живет в Барнауле.

## КЛУБНИКА ПАХНЕТ СОЛНЦЕМ

Э то была не простая очередь, за место в ней бились известные в нашем городе люди. Очередь на испытание ребятшек по различного рода знаниям, чтобы попасть в детский лагерь «Sunshine». Прежде всего, экзаменаторов интересовало знание английского языка, поскольку лагерь был российско-американский, и вожатые в нем, как сказали, будут по большей части американцы. Это был 1997 год, американцы нам тогда еще нравились, мы им даже завидовали. Чему конкретно — не берусь ответить точно. Как бы там ни было, очередь в заветную комнату Дворца пионеров (он тогда еще так назывался) выстроилась огромная. Несколько раз из дверей появлялась востроносая девушка в больших круглых очках с гладко зализанными волосами (прическа «я — строгая училка»).

— Места в лагерь строго ограничены, поэтому тем, кто в себе не очень уверен, лучше не терять зря времени.

Наверно, весьма неуверенными в себе были мы, тем более что пристроились в самый конец очереди. Я забрал вас с мамой

с дачного участка, где ты с первых же дней школьных каникул поселился с бабушкой. Футболка более-менее свежая нашлась, а вот шорты не то чтобы грязные, просто — или мне показалось? — грязь была того же цвета. Бинт, который был намотан поверх гипса, уж точно, чистотой не отличался. Ты неделю назад упал с велосипеда, сломал мизинец.

— Давай хоть верхний слой смотаем, — предложил я, но мама сказала, что уже смотала, сколько можно было.

Поскольку все тут были в той или иной степени «языкастые» (английский знали), мне сразу же растолковали, что название лагеря переводится как солнечный свет или источник радости, или даже попросту — счастье. Я подивился: какой, однако, английский, многослойный!

— Дядя Саша! Здравствуйте!

— Анька! — с трудом узнал я и тут же, заметив за ее спиной здоровенного детину в черном костюме (бедный, июнь заканчивается, жара!), поправился. — Анна, ты с кем?

Она оторвала от папы (черный костюм) мальчика одного возраста с тобой, только ладно подстриженного, в брюках и белой сорочке с галстуком-бабочкой.

«Отличник!» — отозвалась во мне уверенность.

— Вот, познакомьтесь, Анатолий.

«В честь отца», — отметил я про себя. С отцом ее, бывшим футболистом, мы работали на строительстве дороги. Как самых крепких и неквалифицированных, нас заставляли таскать тяжеленную виброрейку, уплотнявшую бетон, и вручную растягивать асфальт там, где машине не пройти. Иногда, чаще всего субботними вечерами, я приходил к ним в гости, и Анька по заказу отца пела под собственный аккомпанемент на пианино «Мурку». Бывало, раз по десять за вечер. Отца, уже отведавшего горькой водки, прошибала слеза от счастья и гордости за талант дочери. Анька росла, из красивой крупной девочки превращалась в красивую крупную девушку, и вот передо мной красивая крупная женщина. И мужа я припомнил — точно, он, только я застал его в роли жениха и этаким дрищем в спортивных штанах. Теперь в объемах он догнал и обогнал Аньку. Еще мне запомнилась ванна в квартире футболиста, она всегда была наполнена рыбой, и я несколько

раз едва сдерживался, чтобы не спросить: вы когда-нибудь маетесь? Рыба — предмет бизнеса жениха, так, вероятно, осталось и по сей день. Как-то я встретил жену Анатолия, Анькину маму, на улице, и она сказала, что зять у них — рыбный король.

Тебя не заинтересовало королевское семейство, по-моему, ты специально отвернулся, чтобы не подавать руки отутюженному сверстнику. Жара на улице, духота в переполненном фойе Дворца, а в обозримом пространстве ни лимонада, ни просто водички. Очередь продвигалась медленно, я успел рассмотреть присутствующих, многих из которых знал.

— Бомонд! — буркнул я, отвечая на приветствие хозяина дорогого магазина «Алиса».

Свою Алису (конечно же, ее звали именно так!) он крепко держал за руку, будто она собиралась удрать отсюда. Может, так оно и было. Рядом с ним маялся хозяин пейджинговой компании, то и дело сообщая что-то в огромный радиотелефон, чуть в стороне банкир с толстым мальчиком в очках... «Что мы тут делаем, — не оставляла меня мысль, — среди этих козырных королей и тузов?» Твоя мама, к тому времени получившая скромную должность в пресс-службе районной администрации, смотрела на все происходящее со своей позиции: во-первых, чему быть, того не миновать, во-вторых, мозги и знания не купишь. Твои родители — журналисты, извини, брат, тебе не пришлось выбирать. А пришлось бы?..

Родили мы тебя поздно, мне и маме было по сорок. Мужу что, а вот маме достался ты, первенец, в этакое возрасте с такими страданиями... Лучше не вспоминать. Да при всем прочем в роддоме заразили гепатитом при переливании крови. Болезнь оказалась неизлечимой, здоровье мамы день ото дня ухудшалось, она, веселая всегда, улыбалась все реже. Вот и сейчас сидит с отрешенным видом, смотрит мимо всего сущего, куда-то за пределы видимого. И молчит, молчит, молчит... Мне грустно и досадно, что помочь не могу, что здоров, как десятиклассник на каникулах, что кончились деньги и не на что покупать дорогие лекарства. Спасибо свояку, наполовину американцу (грин-карту уже получил), привез из Штатов большую упаковку ампул. Говорит, там лекарства лучше наших. Для меня главное — денег не попросил.



Ты терпелив на удивление. После деревенских просторов, после вольных пажитей этот переполненный взмокшими родителями и юными претендентами на кусочек американского счастья холл напоминал парилку, перед которой забыли раздеться. И вроде как тебя все это не касается, не интересно тебе. Ну, привели, ну, сижу.

— Слушай, — придвигаюсь к тебе поближе, — а как будет по-английски «скоро наша очередь подойдет»?

— Понятия не имею, — бросаешь ты небрежно, а я в очередной раз спрашиваю себя: «И какого дьявола мы здесь делаем?».

Пробыл ты в комнате испытаний совсем недолго, по моему ощущению, только успел войти — и вот уже на выходе. «Выперли!» — сказал я себе, а тебя потрепал по волосам и протянул бейсболку (настоящая штатовская, подарок родственника-полуамериканца).

— Мороженого?

— Пива из холодильника, — пошутил ты, отгадав мое желание.

— А тебе, мама?

— И я бы от пива не отказалась. А лучше белого вина, холодного, искристого... Помнишь, пароход, море, солнце, официант весь в белом и золотистое вино в ведерке со льдом...

Конечно же, я помнил. А еще понимал, что мы сейчас будем говорить о чем угодно, лишь бы обойти главную тему и не полезть с вопросами к сыну: как там, что ты, твои ощущения? Очкастая училка объявила, что результаты все узнают по телефонам, которые обозначили в анкетах. Нам ничего не оставалось, как сидеть дома и ждать.

Вот уже и вечер опустился, я искурил на балконе полпачки сигарет, разглядывая заобские дали, среди которых отдельным пятном выделялась деревенька с нашим домиком и участком, именуемыми дачей. Правда, там, вдали, было несколько таких пятен, то есть несколько деревень, и какая из них наша, я доподлинно не знал. Можно было, конечно, выяснить, а зачем? Так интереснее.

— Можно я несколько дней дома поживу?

Мы знали, что тебе порядком надоела деревня с ее однообразными трудовыми буднями (у бабушки не забалуешь: труд делает

из тебя человека! — педагог старой школы), но оставлять в городской квартире одного не хотели.

— А бабушка?! — воскликнули мы хором и следом вразнобой. — А Треф, а куры?!

Треф — это наша собака миттельшнауцер, приобретенная для дома, чтобы тебе не было одиноко, пока мы на работе. Кур завели по настоянию бабушки, дескать, подспорье в семейном бюджете, к зиме морозилки забьем мясом. Наивные горожане! Это мясо, пока действительно в мясо превратится, сожрет втрое больше, чем заплатишь на рынке за готовых кур — откормленных и ободранных.

— А как же я в лагерь уеду на три недели? Кто будет с Трефом гулять и за курами ходить?

Хорошо помню, ты так и сказал — курами, деревенские все так говорили. А мы с мамой озадаченно переглянулись: в лагерь он поедет!

— Пойду на улицу, — поднялся я со своего места, — темнеет уже, вряд ли теперь кто позвонит.

И тотчас телефон зазвонил. Мама оказалась проворней всех, хотя «этих всех» дополнял только я. Ты даже ухом не повел.

— Да, — следом прозвучала наша фамилия, — да. Я вас поняла. Спасибо.

Не помню, чтобы я когда-нибудь видел маму в такой растерянности. Она положила трубку, но продолжала, не отрываясь смотреть на нее, будто общение с этим куском пластмассы еще не закончилось. Потом медленно перевела взгляд на меня и тихо-тихо молвила:

— Наш лучше всех...

Тут-то нас прорвало: что спрашивали? Что отвечал? По литературе вопросы были? А английский, английский-то как?.. Ты вяло отмахивался:

— Да не помню я, муру всякую спрашивали, детские вопросы.

— Видала! — И я передразнил тебя: — Детские!

Мы пару раз приезжали в тот лагерь — ничего особенного: типичные строения пионерских времен, спортплощадка, покривившееся баскетбольное кольцо, потрепанный теннисный

стол. Кульки со сладостями и чистые майки — тебе, грязные — нам. Час, другой — и мы поехали. Двоих американцев ты нам показал, остальные — твое высказывание — сбежали с поносом, не вынесли нашей столовки. В последних словах сквозила гордость патриота. С одним из оставшихся ты перебросился несколькими словами, и мы с мамой обменялись гримасками: чешет (ты, понятно, имелся в виду) на чужом языке — ну, чисто американец!

Больше ничего примечательного в той лагерной истории мне не запомнилось. Да и не было, во всяком случае, для нас с мамой. В следующий раз мы посетили «Sunshine», когда забирали тебя оттуда.

— Come for a visit! — крикнул тебе на прощанье заокеанский вожатый.

— Necessarily! — помахал ты ему.

И пояснил нам: в гости зовет.

— А ты?

— Конечно, сказал, приеду!

— Во-от, — сразу поддержала тебя мечтательница мама, — лучшая практика приобретается в языковой среде...

А я мысленно заглянул в свой бумажник. Америка!

Потом все пошло по заведенному порядку. Под выходные мы с мамой приезжали на дачу, я строил сначала дом, потом баню, потом гараж, мама возилась на огороде или что-нибудь заготавливала на зиму, а ты выполнял бесконечные бабушкины задания, чаще всего на том же огороде. Колорадских жуков она категорически запретила травить, чтобы не портить общую картину экологического благополучия в нашем хозяйстве. И ты ходил по рядкам с крепким раствором соли в баночке, складывая туда полосатых вредителей. А еще вы с бабушкой ставили опыты на картофельной делянке. Помню, на небольшом участке в качестве посадочного материала вы использовали картофельные очистки, и бабушка по-учительски втолковывала:

— А в войну, думаешь, как выживали? Очистки ели, очистки и в землю клали, под будущий урожай

Картофельные опыты бабушки были неистощимы. При посадке мы по ее настоянию клали в лунку вместе с картофелиной (иногда это был всего лишь глазок, иногда половинка клубня — бабушка агроном-испытатель, а не учитель русского и литературы!) соленую кильку. Это, якобы, против червяка проволочника. Иногда подсыпали золу, а то, бывало, луковую шелуху, которую копили на городских квартирах всю зиму. Помню, как-то по осени мы сильно веселились на сборе урожая: лучше всего прочего удалась картошка из очисток!

Тогда я и подозревать не мог, что те огородные упражнения отзовутся потом в тебе полной неприязнью ко всякому земледелию. Сам-то я вырос у материных родителей на огороде, полл, копал, прореживал — и ничего, до сих пор с удовольствием ковыряюсь в саду. Впрочем, из отцовских привязанностей тебе не досталось ничего — ни огород, ни рыбалка, ни лыжи, ни гитара или какой-нибудь там тромбон. Гитара — да, разговор особый. Когда после американского лагеря тебе сняли гипс, я обратил внимание, что сломанный мизинец смотрит как-то неровно. Врач посмотрел на свет контрольный снимок и сказал.

— Срослось неровно, надо ломать и снова в гипс. А вообще-то я бы не рекомендовал. В баскетбол играть неловко, на гитаре — вряд ли получится... Ты собираешься на гитаре играть? — адресовался он к тебе. — Нет? Ну вот, видишь...

Так и порешили: оставить все как есть.

А пару недель спустя эту же руку тебе порвал стаффорд, собака-убийца, чей хозяин, отставной полковник, сам напоминал живодера из фильмов, где американские командос издевались над маленькими туземцами. Он ходил в военной полевой форме без опознавательных знаков, в солдатских берцах, и с лица его не сходило выражение угрозы. Я не успел обдумать план мести, потому как ты уверил меня, что виноват сам. Прости, мой друг, ты облегчил мне задачу, над которой я, если честно, не очень-то хотел трудиться. И почему это мне сразу не пришло в голову: как же ты мог быть виноват, если ты шел по улице, а собака выскочила со двора? Держать такого зверя в свободном доступе к людям! Но вот наш пес, отважный, преданный и бесстрашный миттельшнауцер, два дня спустя бросился

на гулявшего за деревней с хозяином стаффорда, очевидно, с намерением отомстить за тебя. А как иначе истолковать этот бессмысленный поступок кобелька, многократно уступающего врагу по всем статьям? Треф был смят в одно мгновение и оказался бы попросту разорванным, если б хозяин стаффорда не догадался накинуть ему на шею поводок и затянуть удавку изо всей силы. Пес захрипел и ослабил хватку.

— Только так, — мрачно изрек хозяин и увел своего свирепого охранника.

А нашего бойца мы уносили с поля битвы на руках и потом целый месяц лечили его раны мазями из бабушкиной аптеки. И удивлялись, что за все это время он едва одолел чашку каши.

— Животина лечится голодом, — сообщила бабушка и глубокомысленно глянула на мой живот.

В один из выходных к нашим воротам примчался на «Волге» директор здешнего помирающего совхоза, заслуженный хозяйственник, орденосеиц и вообще — хороший дядька, являвший собой тот трагический отряд советских руководителей, которые по привычке безжалостно рвали себя на выполнении непонятных задач и планов и никак не хотели верить, что вместе с большой страной уходят в небытие их предприятия и хозяйства.

— Ваша делянка на третьем километре перед поворотом на Лесное, — взял он с места в карьер.

Я-то уже знал, в чем дело. Он не в первый раз объезжал дачников и пытался выгнать их на прополку совхозных овощей. Дачников в его деревнях к тому времени уже набиралось больше, чем работников совхоза, однако никто не рвался к трудовым подвигам на общественной ниве. Наш директор был маленького роста. Когда ругался, а ругаться, похоже, ему приходилось постоянно, походил на разъяренного гнома.

— Бездельники! — горячился директор. — Сели тут на нашей земле и помочь не хотят! Для вас же выращиваем все, к вам на стол!

— Мы для себя сами выращиваем, — пытался остудить его я. — У меня в городе своя пашня, а здесь — законный выходной. Своих остолопов работать заставляйте!

— Мои остолопы давно уже стали вашими, на асфальт утек-ли, за сладким городским хлебом! А кто его вам выращивать, в конце-то концов, будет?

Потом он вспомнил Льва Толстого, который, по его словам, едва ли не большую часть своего времени работал на земле, а не за письменным столом. Опять же нам, городским дармое-дам, в пример. Еще много чего наговорил. И тут, смотрю, ты отку-да-то у меня из-за спины выдвигаешься, а в руках тляпка.

— Я пойду.

Спокойно так сказал, обыденно, как о давно решенном и не обсуждаемом. Не знаю, что еще могло бы так внезапно оста-новить нашу перепалку, но все стихло разом. Помню, тляпка эта разнесчастная показалась мне такой огромной, а ты — таким ма-леньким и беззащитным...

— Никуда ты не...

Договорить я не успел. Маленький директор в безнадежном отчаянии махнул рукой, и «Волга» помчалась, укутывая пылью и своих, и дачников. И жалко, помню, мне его стало! Он-то поче-му крайний во всей этой бесчеловечной истории?!

В то лето, именно в то, не совру, я как раз и решил приобщать тебя к мужским делам и забавам. Первое дело — конечно, строи-тельство, оно у меня проходило под знаком бесконечности. Ну вот, я же все умею, даром что гуманитарий, — столярничать, плотни-чать, кладку худо-бедно вести. И ведь никто специально не учил — где за дедом подгляжу, где за отцом. Так в пригляд и осваивал ре-месла. За дедом, конечно, больше, отец все время на работе, редко когда по хозяйству. А все равно рукастый, тоже от предков пе-ренял. Рыбалка и охота — это только дед, но уж и знатный был лесовик да речник-озерник! Без рыбы мы не жили... В общем, сажаю тебя поблизости, сам обшивкой нового дома занимаюсь. Думаю, вот и посмотрит, опять же что подать-принести сможет. Подумал — и забыл за делом про тебя, подать-принести — отвык я от этого, да и не привыкал, если по-честному, сам справлялся. Вспомнил про тебя — а ты сидишь там, где и сидел с самого сво-его прихода, книжку читаешь. Как сейчас помню — Меттерлинк. То есть вприглядку, понял, не получается.

На рыбалку поехали. Загрузили наш «Жигуленок» снастями, припасами, я подготовился основательно, все, думаю, покажу, в лучшем виде. Маму позвали с собой, но это так, для порядка, знали, что откажется. Приехали, расположились, я наладил снасти, тебе специально самую легкую удочку подобрал. Прикорм, червячок — все чин-чинарем. Встали неподалеку друг от друга. Я почти сразу же вытащил двух приличных подлещиков и крупную сорогу, дело пошло! Увлёкся и, честно сказать, на какое-то время опять забыл про тебя, она ж зараза, рыбалка эта! Смотрю — а удочка твоя лежит так аккуратненько на берегу, сам же ты чуть в сторонке под тополком и опять с книжкой! И когда только успел в машину сунуть, я не заметил.

— Не клюет, — предупредил ты мой вопрос.

Ну, значит, не клюет, бывает. Если уж опять по-честному, не очень я и расстроился, у меня-то поплавок нырял без передышку, как сейчас помню, редкий был клев...

Лето подходило к своей верхушке. Уже изрядно подсобрали лесных ягод, грибов. Особенно много в тот год было земляники. Все знают, хороша ягода — и ароматная, и вкусная, и полезная, и варенье из нее хоть куда, но собирать ее — наказание. Помногу в горсть не возьмешь, мнется, если спелая, вот по ягодке и складываешь в бидончик. Да и не сильно-то кистями она растёт, тоже — по ягодке. Жара, а клещ еще не унялся, обязательно нацепляешь — только и дел, что осматриваем друг друга, обираем этих тварей. Наверно, это был самый серьезный довод, чтобы не брать тебя в лес по землянику — клещи. А ты и рад, книжек мама навезла гору.

А тут и клубника подошла, любимая ягода всей нашей семьи. Бабушку дома не удержишь, а тебя — не оставлять же на весь день одного.

— Ладно, бери книжку, — разрешает мама.

Клубничные места у нас свои, давние и никем чужим в те времена еще не разведанные. Когда-то там располагалось поселение, именуемое здешними старожилками Фиркордоном. Я так думаю, что полное название было у него такое — Фирсовский кордон, от имени одного из недалеких в округе сел. Кордон — скорее всего, в те давние времена здесь был пост лесной стражи. И лес

тогда был — никакого сомнения, тут и там разбросаны одинокие сосны. На этом месте жили люди, вот и кладбище заброшенное в березнике, никто не навещал уж десятки лет. А кругом заросли травы, из которой выглядывают ромашки, головы медово пахнущего лабазника и горделивые султаны подмаренника. В этой траве росла клубника, какой нигде раньше и потом я не видывал — крупная, ароматная, в спелости темно-бордовая.

Теща (твоя бабушка), наша мама и я разошлись по сторонам со своими бидончиками и ведерками, тебе досталась литровая эмалированная кружка. Ох и ягоды нынче! И собирать ее... Даже на рыбалке не всегда получается настолько отключиться от всего, чем постоянно занята голова! Однажды (то, правда, был поход за земляникой) я, собирая ягоду, сочинил стихотворение. Хорошее, плохое — неважно, однако сам себя удивил. До того я в последний раз пытался рифмовать три десятка лет назад.

— Папа!

Я тебя не видел, пошел на голос. Ты полулежал, опершись на локоть, в траве, раздвинувшейся под тобой на пробор, рядом кружка с едва прикрытым ягодами дном, на ладони несколько крупных клубничин.

— Клубника пахнет солнцем!

И столько радости, пыла и удивления в голосе и на лице — открытие сделал человек! Я приблизил к лицу свое ведерко — ничего необычного, клубника пахнет клубникой. Но что-то в эти мгновения произошло, несомненно. Никогда тебе в этом не признавался, однако с той самой поры, глядя на солнце, я всегда вспоминал клубнику, ее запах, и для меня солнце пахло клубникой! Пахнет до сего дня!

Глупые мы, глупые! А если умнеем, как правило, задним числом. Спустя годы и годы я узнал, что жизнь в деревне, которая казалась нам, родителям, высшим благом твоего лета, твоих лет, для тебя была сущим наказанием. Бабушка, бывшая советская учительница, как многие нынче, ставшая нестигаемым новобранцем православия, заставляла зубрить Писание, строго наказывала за непослушание и все время предлагала новые трудовые задания. Сама она демонстрировала примеры стойкости



и здорового образа жизни, приседая по несколько сот раз (если суставы заболели, количество приседаний непременно увеличивалось), поедая мокрец и прочие сорняки. Она утверждала: трава, выросшая на неудобнице, есть природная сила, ее и должен потреблять человек. Надо же, я тогда всего этого не знал, не слышал, скорее всего, попросту не вникал. Нас забавляло и даже радовало, когда выпущенные из клетки бройлеры, взлетали к тебе на плечи, усаживались на голове, притом что никого другого близко не подпускали. Ты кормил их, ухаживал за ними — еще одна непреложная твоя обязанность...

Несколько раз я заставлял тебя спящим на моем топчане в недостроенном доме. Жили вы с бабушкой в старой избушке, доставшейся нам от бывших хозяев, и бабушка ругалась, когда ты бегал на стройку: шею, дескать, свернешь. Теперь-то я понимаю, что тебе хотелось спрятаться от всех — от бабушки, от кур, бесконечных сорняков, колорадских жуков и даже от нас с мамой, приезжавших на выходные исключительно для того, чтобы нарабатываться вусмерть. До тебя ли им (нам) было! Я смотрел на тебя спящего и в который раз считал вихры на голове. Где-то слышал, что обладатель двух и более вихров будет в жизни особенно счастлив. У тебя их пять, считая косичку, в которую свиваются волосы, спускаясь к шее. У меня такая же. Когда в школе меня из-за нее начали дразнить девчонкой, я стал следить за стрижкой и с тех пор носил только короткие волосы... Ты спал, а я смотрел на тебя и думал, что ничего не знаю про твое будущее. И вовсе не потому, что будущее всякого человека мало предсказуемо, не важно, родной он или посторонний. В те времена всякое будущее (и твое, и мамино, и мое собственное) было настолько туманным — будто в молоке плывешь. А наш убогий семейный бюджет добавлял хорошую порцию сомнений в завтрашнем дне.

Перед самой школой, когда дачный сезон подходил к концу, но дел на огороде еще хватало, ты втыкал в землю семена редиски, что вызывало протест бабушки (редиска — весеннее дело!) и недоумение соседей. А весь секрет в том, что названный корнеплод должен был подойти через месяц, как раз к моему дню рождения. Это было ежегодным твоим подарком отцу (редиску люблю по-прежнему!). Она не успевала дойти до полной

кондиции, но все ж обретала вид близкого к готовности овоща, занимала на именинном столе почетное место и была самым дорогим угощением для меня.

Шло время, ты подрастал, в школе настаивали, чтобы тебя готовили к поездке в Америку на год по обмену. Ты отмахивался:

— Чего я там не видел, в вашей Америке?!

А беда шла за нами по пятам. Лето. Совсем недавно отметили наступление третьего тысячелетия. У твоей мамы обнаружилась какая-то опухоль, и ей предстояла срочная операция. Врачи говорили, что мама вряд ли выдержит ее из-за своей хронической болезни, и, тем не менее, без операции не обойтись. Вот такой, брат, выбор... Мама перестала узнавать соседей, меня путала с кем-то и вообще путала все и всех. Она выходила на улицу, делала уборку в квартире, пыталась готовить, но к кухне я старался ее не подпускать, опасное место — кухня.

Больница. Подготовка к операции. Родственники подсказали отправить тебя в лагерь. Был такой заезд, где подростки осваивали будущие профессии. Ты выбрал журналистику и стал делать самую настоящую газету, в редакции которой занимал должности от редактора до корректора. Позднее ты показывал мне отпечатанные типографским способом выпуски — честное слово, профессиональная работа!

А маме все хуже, сладить с ней все труднее. Хотели привязать ее к койке, но я воспротивился, лучше буду сидеть рядом, дежурить. Да, сменить есть кому. Пока мы с докторами решали, что и как, мама сбежала. Вернули ее случайные люди, благо, поняли по больничному халату, откуда она могла уйти. Она, как рассказали, шла, временами бежала по трамвайным путям в сторону нашего дома и выкрикивала одно — твое имя. Мама рвалась к тебе. Засыпая после укола, она повторяла и повторяла... Наверно, в эти дни для нее уже никого, кроме тебя, не существовало.

Палата женская, потому я сидел перед входом так, чтобы мог видеть мамину койку и ничего больше. Нелегкое это занятие, бдение в ночи, из дел всего-то — перебирать прошлое. В памяти возникали картины и события в хронологическом беспорядке. Вот приехали из Рязани мои родители. Отец был тогда уже тяжело болен и потому большее время проводил в постели. Моя мама

закармливала тебя удивительными пирожками, в которых тесто она заменяла толченой картошкой. Тогда тебе было полтора года, и больше своего деда ты не видел. Другой дед умер ровно за девять месяцев до твоего появления на свет, и все в родне знали, что ты пришел ему на смену... А вот вы с мамой (это было как раз за год до сего дня) отправляетесь паломниками в Дивеево, на поклон к Серафиму Саровскому. Три с лишним тысячи верст с пересадками, ночевками и питанием неизвестно где и как! Последняя надежда — путешествие к целительному источнику!.. Тебе четыре года. Мы с тобой вдвоем пришли в храм к вечерней службе. Для меня не такое уж частое событие — посещение храма. Народу совсем немного, летнее время, огороды. Негромкий и не очень внятный голос священника, жиденький хор на клиросе. И вдруг — крик боли и отчаяния! Детский крик! Твой! Ты стоял чуть позади меня с гримасой боли и судорожно пытался что-то достать со спины. Это была оса, она выбралась из-под твоей рубашки и улетела. Я стоял потрясенный. Как же так!? Храм Божий! Дитя безгрешное! Возможно ли такое!? За что!?! Ты на удивление быстро успокоился и даже маме (я, помню, все ждал и ждал) не сказал ни в этот день, ни на следующий. Никогда. Мама верила. Неужели ты уже тогда своим маленьким сердцем почувствовал (ну, не мог же ты знать!), что нельзя спугнуть эту веру?

Меня подменяла жена маминого племянника, маленькая, бойкая и жалостливая. А мне, уставшему от бессонницы, не хотелось идти домой. Кругом цвело и благоухало, казалось, лето, и все, чем оно обозначено, не согласно с недугами, увяданием, немощью. Я выходил на трамвайные пути смотрел на их удаляющуюся, слитую в одну линию и пытался изъять из памяти шпал звук ее шагов, аромат волос и зовущий голос...

На похороны привезли тебя из лагеря. Ты был каким-то сдержанно-отрешенным. Ни словечка, ни слезинки.

А у меня выплыла из памяти фраза, услышанная где-то, не помню где, которая долго не давала мне покоя: молитва матери о детях имеет великую силу. И где же ее взять теперь, эту силу, чтобы тебя не оставить без поддержки?

И пошла наша жизнь дальше, без мамы. Ты, если не в школе, сутками напролет не отлипал от компьютера, и я радовался

тому — все отвлечение. Стирка, готовка, уборка, родительские собрания — как у всякой семьи, где подрастает сынишка. Только без мамы. А компьютер... Ты так с ним и сросся. Давно уже взрослый, и теперь для тебя эта машина с клавишами — и друг, и семья, и рабочий инструмент.

Бабушка, мама твоей мамы, твой дачный угнетатель, не смогла пережить смерть дочери и вскоре умерла. Как мне объяснили доктора, стрессовая онкология. То есть вроде болезнь как болезнь, только убивает мгновенно.

Дачу мы продали, и нынче в доме нашем ни картошки своей, ни редиски. Как выяснилось, не велика печаль, потому что моя готовка теперь тебе не нужна, в основном, ты предпочитаешь фастфудовское питание. А ковыряться в земле могу сколько угодно у моих друзей в саду, они только рады, поскольку сами предпочитают валяться на газоне.

Уже позади и школа, и университет. Живем вдвоем, друг другу не надоедая. Бывает, по два-три дня не видимся, это в одной-то квартире!

Хочу внуков, но что-то здесь у нас с тобой согласия не наблюдается.

— Столько девчонок под окнами ходит — глаза разбегаются! А ты...

— Мне нужна одна.

— Ну, и где она?

— Пока не знаю.

В комнате у тебя я бываю крайне редко, знаю, что тебе мое присутствие там не очень нравится. Там у тебя семейный киот, который ты собрал, отыскав старые фотографии, часть которых мы привезли из Рязани, когда ездили навещать могилы моих родителей — твоих дедов. Даже мою фотку одел в рамочку и поместил среди родни. Сказал, что займешься поисками следов дальних предков и составлением родового древа. Надо же, мне вот в голову не приходило!

— А важно? — задал я провокационный вопрос.

— Важно!

И без комментариев. А еще там гравюра, подаренная каким-то художником твоей маме. Мне все время казалась она без-

дарной, и я хотел ее выкинуть. Ты не позволил. А однажды забрал к себе все фронтовые награды моего отца, которые, честно скажу, обрелись у меня в ящике рабочего стола в беспорядке.

Свое тридцатилетие ты отказался отмечать наотрез. Накануне ты поменял место работы, как я понял, на лучшее. Поговорили о том, что нынче в приоритетах у работодателей — компьютер, язык, желательно, два, умение креативно мыслить.

— Это как?

— Не притворяйся!

Это ты мне. Да знаю я, что такое ваш креатив, конечно, знаю... Еще знаю, что ты искал новую работу давно, рассылал свои резюме по разным конторам. В предпоследней тебе отказали, объявив причину: слишком русский опыт.

— Тебе ж говорили, поезжай в Америку учиться! — подначивал я. Но ты не принял шутки.

— Пап, а ты знаешь, что они еще задолго до моего рождения, в 1980 году в штате Джорджия установили памятник победителям в войне сильных против слабых? Ты бы до такого додумался? Или твой батя?..

Вечером я тихонько приоткрыл дверь в твою комнату. Ты стоял ко мне спиной, облокотившись на полку так, что лицо едва не касалось большой фотографии. Это был портрет мамы.

Потом я долго бродил по улицам нашего города, по тем самым, где гуляли мы с твоей мамой, когда только познакомились.

Sunshine! Солнечный свет! Источник радости!.. Ступаю по шпалам трамвайной линии, уходящей далеко, у самого горизонта, в точку. По-моему, это западная сторона, и солнце, завершая свой завтрашний дневной путь, в какое-то мгновение окажется в этой самой точке.



## Валерий Мозес

Родился в 1948 году. Окончил филологический факультет Барнаульского государственного педагогического института. Издатель, редактор, член Союза журналистов. Живет в Барнауле.

### ВСТРЕЧА С ЮНОСТЬЮ, ИЛИ ПОСЛЕДНЯЯ «ГАСТРОЛЬ»

**В**се летнее детство довелось мне провести организованно: сначала на детсадовской пригородной даче, позже — в заводском пионерском лагере, расположенном в чудесном сосновом бору, по соседству с неторопливой мелкой речушкой. Навсегда запомнился необычный цвет ее воды — горчично-коричневый с золотистыми проблесками, хотя была она вполне чистой, манила прохладой и приятно освежала в жаркий день. Над поверхностью ее всегда вились стрекозы — от красавиц с изящным голубым тельцем до здоровенных, трещащих крыльями «громовиков».

Этот лагерь, проведенное в нем счастливое беззаботное детство занимает особое место в моем сердце: на протяжении всей жизни прихотливая память время от времени упорно возвращает в эти места, в безвозвратно ушедшие годы...

В семье у нас существовал ритуал — «собрание совета в Фиялях»: обычно в конце апреля мама увлекала нас с папой за стол

строить планы на лето, хотя набор рекреационных мероприятий был известным. Вакации<sup>1</sup> заранее, как правило, оказывались predeterminedенными: отец — известный заводской агитатор-пропагандист<sup>2</sup> — часто получал в профкоме путевки в дом отдыха или санаторий, причем, именно летом. Меня традиционно отправляли «подышать сосновым воздухом» в лагерь — это называлось «летними гастролями». Мама же отдыхала от нас и стояния у плиты.

Так продолжалось примерно до моего тринадцатилетия, и однообразное лагерное бытие начало надоедать, но этот сезон запомнился мне на всю жизнь.

С детства я ненавидел ходить строем и с трудом терпел массовые мероприятия под чьим бы то ни было дирижированием, подсознательно чувствуя принуждение, граничащее с насилием. Именно по этой причине с удовольствием гонял в лагере с пацанами в футбол-волейбол, играл в настольный теннис, другие подвижные игры, в меру дрался. Но всегда избегал участвовать в конкурсах песни и строя и ходить на отрядное место, называя его «отхожим», чтобы не выкладывать там зелеными нераспустившимися сосновыми шишками название отряда, как всегда, пафосное — что-то вроде «Победители», «Факел Данко» или даже «Зверобой». Явно кому-то из наших вожатых-воспитателей, практикантов-филологов местного педвуза романтизм Максима Горького и Фенимора Купера крепко запал в душу.

Чтобы не участвовать в этих «массовых гуляниях», я нередко, нарушая строгий запрет, тайком пролезал под довольно высоко закрепленным от земли забором, огораживавшим территорию лагеря, и, уединившись, бродил по окрестному лесу. Одна из таких прогулок запомнилась мне навсегда.

Места вокруг и впрямь были чудными: густой сосновый лес укутывал слегка всхолмленную местность, в недалекой низине протекала речонка, сплошь поросшая по берегам непролазным тальником и кустами боярышника. Кое-где в забоках можно

---

<sup>1</sup> Вакация – то же, что и отпуск, каникулы (устар.)

<sup>2</sup> Общественная должность, то же, что и политинформатор.

было нарвать сизой, необыкновенно вкусной ежевики, а прогретые июньским солнцем полянки белой пеной покрывала цветущая земляника, которая через неделю-другую обещала одарить неповторимо ароматной ягодой<sup>3</sup>.

Сколько помню себя, всегда любил лес, особенно окружавший город сосновый бор; в школе мне нравились занятия по естественным дисциплинам, в том числе и ботаника, поэтому я неплохо различал растения. Такие прогулки были для меня негромким восторгом единения с природой: притихший лес весь прошит ярким солнцем, изумрудные кусты шиповника еще не сбросили своих розовых и сиреневых цветков, кровавыми брызгами блестя в траве костяника, протягивая на высоком стебельке свои маленькие гроздья — сорви меня. Остро пахнувшие кусты бирючины, которую у нас зовут волчьей ягодой, гордились крупными, не успевшими еще потемнеть и окраситься фиолетовой южной ночью соцветиями. Высоко в небе медленно кружила пара коршунов, высматривая добычу и резкими визгами перекликаясь между собой. Воздух вокруг был наполнен мудрым покоем.

Открывшаяся передо мной небольшая лужайка притягивала взгляд одиноким «пьедесталом» — останком вековой сосны спеленной, видимо, недавно — уж больно велик был этот пахнувший смолой довольно высокий пенёк. Я знал, что в бору иногда делают специальные рубки ухода, освобождая лес от больных и переросших деревьев, и сосна, скорее всего, была из таких.

Повинуясь внутреннему побуждению и подойдя к пню, я прилег, закинув за голову руки, на это «ложе», полностью почти уместившись на нем. Перед глазами высился далекий круг ярко-синего неба, окаймленного величественными соснами и слегка подсвеченного золотившими его солнечными лучами. Оглядевшись, новым взглядом отметил и резную тень клена на траве, и нежную рыже-бронзовую даже не кору еще — кожуцу

---

<sup>3</sup> Сегодня, вспоминая эти ягодные поляны, мне, конечно же, представляются знаменитые битловские «Strawberry Fields Forever», названные так потому, что в местечке с таким же названием располагался детский лагерь «Армии Спасения», где провел часть своего отрочества один из авторов песни Джон Леннон.



сосенки-подростка, и выделявшийся красным пятном куст старого барбариса...

Притихла земля, отдаленные звуки плыли и качались в воздухе, как дым. Я почувствовал вдруг, как меня, ошеломленного, охватывает невыразимая радость бытия, казалось, за спиной выросли крылья, и я могу взмахнуть ими, подняться над зачарованным лесом, речкой, над всем необъятным и оробевшим на мгновение миром.

Постепенно меня пленило странное чувство: присмирелая бесплотная душа моя будто готовилась к некоему великому изменению, небывалому перелому, возникло предощущение чего-то никогда ранее не испытанного: призрачное новое виденье мира, ставшего огромным, манящим, волнующим и обещающим совершенно новые впечатления. Боль и слезы восторга неожиданно поразили меня, венчая наступление новой поры — я осознал, что, кротко улыбнувшись на прощанье, уходит детство...

Дрожь, пронизвавшая меня, было не унять, а перед мысленным взором пронеслась вся моя короткая жизнь. Я вспомнил, почувствовал запахи и звуки быстро отдалявшейся поры — мамыны колыбельные песни, голос сестры, читавшей мне сказки, вкус подгорелой каши в детском саду, тревожные запахи поликлиники, в которую меня водили на прививки, первую рыбалку с отцом, когда я поймал на удочку крохотного гольянчика, напугавшего меня своей живой изворотливостью.

Интуитивно я понимал — наступает неизведанная и волнующая своей непредсказуемостью пора юности.

Последовавшие через неделю события довольно драматично подтвердили мое предчувствие. Сезон заканчивался, наступило последнее воскресенье июня, на которое традиционно приходился праздник — День молодежи. Наша вожатая вернулась из города вместе с автобусом, на котором прибыл развлечь нас ради торжества заводской духовой оркестр, и привезла нам несколько бутылок лимонада и пакет свежих пряников. Отрядная братва накинулась на забытые за сезон лакомства, и я, дежуривший на свою беду в этот злополучный день по палате, захватив пустую тару, пошел выбросить мусор в специальный ящик у забора. Шел я босиком и, как музыкальный мальчик, взяв две стеклянных

бутылки за горлышко, стал выстукивать ими ритм оркестра, бравадно гремевшего на весь лагерь. Конечно же, одна из бутылок разбилась, и, конечно, я наступил на остро торчащий стеклянный осколок, предательски попавшийся как раз мне под правую ногу.

Помню, как, еще не почувствовав боли, схватился за ступню и меня поразил непривычный вид глубокой раны: плоть была белой — видимо, кровь из рассеченных сосудов не успела пропитать ее края. Опрометью, побросав мусор, я вприпрыжку, почти не опираясь на травмированную ногу, понесся к медпункту — специально оборудованному всем необходимым для оказания экстренной помощи домику, в котором постоянно дежурила медсестра.

Быстро обработав рану и туго перевязав ступню, она вкатила мне какой-то укол, и мы поехали на имеющейся для подобных случаев старенькой легковушке — заводской порядок царил и в пионерлагере — в город. Через полчаса я уже сидел, тихонько поскуливая, в приемном покое горбольницы, а еще через некоторое время, лежа на кушетке у хирурга, с ужасом наблюдал, как он, захватив похожим на ножницы инструментом полукруглую иглу с довольно толстой ниткой, направляется ко мне. Обколотая новокаином ступня чувствовала тем не менее довольно болезненное покалыванье, но через несколько минут врач весело произнес незнакомое слово «аллес» и сказал, чтоб я больше к нему не попадался. На этом экзекуция закончилась, сестра сноровисто перебинтовала ступню, и я, промямлив что-то вроде «спасибо, дядя», прошкандыбал к машине, где мне помог уместиться на сиденье шофер и, спросив адрес, покатил к моему дому.

Длинный, полный впечатлений день уже закончился, в темноте мы въехали в тускло освещенный наш двор, и я заметил еще издали стоящих на балконе родителей, которые теплыми летними вечерами любили подышать на нем свежим воздухом. Увидев меня, неуклюже выбиравшегося с поджатой перебинтованной ногой из машины, они быстро сбежали с третьего этажа, ахая и причитая. Я едва успел скороговоркой успокоить их, сказав, что ничего страшного не произошло, и все мы, сердечно поблагодарив сестричку и шофера, направились в дом.

Так закончилась вместе с детством моя последняя летняя «гастроль», и только много лет спустя, влекомый неудержимым ностальгическим чувством, я впервые вернулся в эти места. Лагерь мало изменился: те же зеленые домики, карусели и качели, тот же единственный бревенчатый корпус и привычный неумолчный ребячий гомон.

И лишь на заветную поляну я так и не пошел, боясь расплескать то щемящее чувство, которое пронес через всю жизнь, — не хватило смелости. Недаром ведь говорят: «Не возвращайся туда, где был счастлив»...



## Сергей Круль

Родился в 1953 году в Уфе. Окончил Уфимский авиационный институт с дипломом инженера-электромеханика. Бард, автор-исполнитель, писатель. Автор книг «Мой отец — художник Леонид Круль» (1997), «На углу Социалистической и Бекетовской» (2005), «Богомаз» (2006) и др. Член Союза российских писателей. Живет в Уфе.

## ВСЕ ВАСИЛЬКИ, ВАСИЛЬКИ, СКОЛЬКО МЕЛЬКАЕТ ИХ В ПОЛЕ...

**Н**ет на свете людей, которые бы в той или иной степени не были виноваты перед своими родителями, предшественниками, давшими нам право на жизнь. Это дарованное свыше право вселяет надежду и ожиданием счастья переполняет душу. Теряя голову, мы проваливаемся в самую глубь лабиринта невзгод и прегрешений в погоне за призрачным благополучием, забывая обо всем и обманывая себя и своих близких.

Я один из тех, чья вина перед матерью тяжела и неизгладима. Вспоминаю ее лицо, задумчивое и строгое, печальное, которое сразу преображалось, стоит только на нее взглянуть, украшаясь доброй и застенчиво-милой улыбкой. Создавалось впечатление, что мама совсем не умеет сердиться, настолько мягкий и уступчивый был у нее характер. Нам с братом жилось привольно и легко, мама ходила за нами до третьего класса, как за малолетними детьми, кутая в ватные одеяла. Борясь со сквозняками

и бесконечными простудами, отпаивала малиновым вареньем и душицей. Терпеливо перетаскивала нас на себе каждую субботу после купанья, опуская в теплую, нагретую постель. После переезда мы жили на первом этаже, пол был холодным, и мама, как могла, берегла наше здоровье.

Будучи впечатлительным и слабым мальчиком, я большую часть времени просиживал дома, общаясь чаще с книгами, чем с приятелями. Моим кумиром был отец, работавший художником. Мама оставалась как бы в тени. «Слова из тебя не вытянешь, дядя Стася родимый», — отшучивалась она в ответ на мое угрюмое молчанье, когда я приходил из школы и неохотно делился с ней новостями. Я сильно картавил, с трудом давались шипящие звуки, и мою сбивчивую невнятную речь мало кто мог разобрать. Над этим изъясном все смеялись, особенно усердствовали дворовые мальчишки. Дома от насмешек спрятаться было негде, и я отмалчивался, избегая длительных расспросов. Мама жалела, защищала от нападок ребятни, и со временем ко мне прилепилось прозвище «маменькин сынок».

Сколько помню, мама все время что-то делала — стирала, гладила, шила, готовила, убиралась по дому и беспрерывно штопала старые носки и чулки. Их имелась у нас целая грудa: два больших выдвижных ящика старинного шифоньера были заполнены доверху изношенным тряпьем. Откуда что бралось?! По долгим зимним вечерам, когда телевизоры были большой редкостью и все собиралось возле репродуктора послушать радиопостановку или концерт легкой музыки, мама как-то незаметно, с улыбкой, при свете настольной лампы починая прохудившиеся носки. А они все рвались и рвались, протираясь в новом, неожиданном месте, и мама, вздохнув: «На вас не напасешься», бралась за повторную работу.

Если штопкой она занималась по необходимости и из экономии, то шить действительно любила. Не умея раскраивать материал, тем не менее шила добротнo и уверенно по готовым выкройкам, которые находила в журнале «Работница». И до школы мы с братом всюду появлялись в клетчатых маминых костюмчиках, по коим нас обычно и узнавали. Дома привычно и легко жужжала желтенькая швейная машина с ручным приводом, одна из первых

семейных покупок. Мама подолгу не расставалась с ней, старательно овладевая азами рукодельного мастерства. Раз в две недели она затевала стирку. Стирка была большая и растягивалась на весь день. Квартира наполнялась душным и влажным воздухом, в котором тяжело ощущался неприятный, колючий запах хозяйственного мыла. Мама кипятила белье в мыльном растворе, взгромождая на газовую плиту двухведерный алюминиевый бак, где вместе с бельем всегда плавало множество разноцветных обмылков. Стиральных машин еще не придумали, и мама все перестирывала на руках, до мозолей сбивая натруженные ладони. Уставшая, в мокрым цветастом халате, она несколько раз на дню выходила во двор развешивать чистые простыни и пододеяльники. Высушенное белье складывалось на обеденном столе, и вскоре там же начиналась глажка.

Первый утюг, который я увидел, был газовый, со съемной ручкой. Сделанный из цельнолитого куска металла, он докрасна нагревался на газовой конфорке, затем ухватывался деревянной ручкой и переносился в столовую. Мама обыкновенно работала с двумя утюгами и пока гладила одним, остывающим утюгом, второй стоял на огне. Потом она бежала на кухню и меняла. Газовый утюг был значительно тяжелее электрического, это я запомнил на всю жизнь, когда уронил его на ногу при неудачной попытке использовать в качестве гантели. Часто по ночам я просыпался от неяркого желтого света, слабо стелющегося по коридору. У меня сжималось сердце и, прерывая сладкий сон, я вставал и упрямо шел на кухню, подталкиваемый вопросом — почему мама столько работает, ведь кругом ночь и все уже спят? Я старался ей как-то помочь, облегчить непосильную, непонятную мне женскую долю. Кроме жалости у меня ничего не было.

Нина Алексеевна Круль, в девичестве Овчинникова, родилась 11 мая 1927 года в Сибири на станции Топчиха, что неподалеку от Барнаула. Бабушка Софья Павловна Белякова была уроженкой Балашова Саратовской губернии. Росла и воспитывалась в крепкой семье зажиточного скорняка, училась в приличной гимназии, пока семью не раскулачили. Отец бабушки Павел Беляков, всю жизнь работавший на семью и трудом скопивший небольшое состояние, не перенес свалившегося на него позора, слег

и вскорости умер, в бреду повторяя: «За мной придут, придут, должны прийти». До последнего дня он надеялся, что ему вернут дом и хозяйство. Этого не случилось, и пятеро детей, кто в чем был, оказались на улице. Братья разбрелись в Таганрог и Вологду, Софья вместе с сестрой Клавдией на страх и риск отправились в Сибирь, где и встретили свою судьбу. Иван Соколов, сын ярославского протодьякона, и Алексей Овчинников, недоучившийся гимназист из Петрограда, сосланные в Новосибирск за связи с классовым врагом, быстро нашли общий язык, подружились и в одно время сделали сестрам предложение.

Бурные двадцатые годы развели друзей. Соколова отправляют учиться в Ленинградский ветеринарный институт, по окончании которого он работает на строительстве Турксиба, где ремонтирует главный и единственный тогда транспорт — лошадей и быков. Овчинникова после некоторых колебаний, учитывая руководящие качества и технические навыки, назначают директором МТС на станции Топчиха, куда он перевозит свою уже разросшуюся семью.

Война спутала все планы. И хотя у Овчинникова имелась защитная броня, он в общем эшелоне отправляется на фронт, не желая отсиживаться в тылу. Смертельное ранение в живот в августе 1943 года под Сухиничами оборвало блестящую карьеру майора, к тому времени занимавшего пост ответственного секретаря полка.

А дома, в Топчихе, его ждали жена и четыре малолетние дочери. Мимо пронеслись поезда, груженные замерзшей свеклой, и станционные пути были сплошь усеяны бесформенными красноватыми плодами. Люди собирали их и ели — свекла составляла главный рацион. Не всем такое было по силам — две младшие мамины сестренки, мучась животом, умерли в раннем возрасте и не дождались дня, когда семья вдовы красного командира получила от властей долгожданную поддержку — старую ялую корову Маньку, почти не дававшую молока. Ее обменяли на молодую корову из колхозного стада по кличке Чайка. Это было как раз вовремя — оставшиеся в живых Нина и Алла впервые за долгие годы наелись досыта. После войны, в 1946 году, бабушка по приглашению сестры переезжает в Уфу. Клавдия Павловна уже жила

там и имела свой угол благодаря свояченице, бывшей замужем за Веретенниковым, тогдашним министром сельского хозяйства республики. И хотя Уфа была закрытым городом, для родственников делали исключение.

Я неясно помню детство, проведенное в доме номер девять по улице Ленина. Но по-прежнему, когда в спешке прохожумимо, что-то рвется в груди. Я замедляю шаг, смотрю на дом, и меня неудержимо тянет заглянуть вовнутрь, подняться на верхний пятый этаж, где мы жили, пройти на кухню и прислониться к узкому длинному окну, выходящему на двор. И по-прежнему меня влечет в маленький сквер, что на углу Коммунистической и Ленина, где когда-то тихо журчали миниатюрные фонтанчики, ворковали непоседливые голуби, разыскивая хлебные крошки, и шумно бегали нарядные ребятишки. Мама рассказывала, что часто ходила с нами гулять в этот сквер, толкая впереди себя простенькую деревянную коляску.

Не знаю, до сих пор не пойму, что меня толкнуло на необдуманный поступок и заставило взять из маминого кошелька деньги. На улице стояло лето, знойный полдень, нестерпимо хотелось мороженого, и взрослые мальчишки решили в шутку меня испытать — смогу ли я незаметно от родителей вынести из дома деньги. Мне пять лет, и я горд оказанным доверием. Осторожно, чтобы не разбудить задремавшую на часок маму, я на цыпочках пробрался в комнату и положил в карман десять рублей.

Реакция последовала незамедлительно — обнаружив пропажу, мама быстро установила виновника и, возмущенная случившимся, потащила меня в отделение милиции. Я не хотел идти, плакал и вырывался, но мама держала крепко, приговаривая, что вор ей не нужен и что сейчас она сдаст меня в тюрьму. Это было полной неожиданностью. Я-то думал, что меня не станут наказывать, и совсем не хотелось попасть туда, где ходили угрюмые люди в военном и беспрерывно лаяли собаки.

Так я получил первый урок мужества и прямоты, который преподала мне моя мать, мягкая и стеснительная женщина. Сама она никогда не брала чужого, и сердце ее было свободно от зависти и корысти.



Переезд в Уфу оправдал возлагаемые на него надежды — Клавдия Павловна выхлопотала сестре и двум ее дочерям комнату в коммунальной квартире, где проживала сама, и вскоре мама поступает в кооперативный техникум. Однако стать специалистом ей не удалось. Еще будучи студенткой, она знакомится с отцом и, уступая его настойчивым ухаживаниям, выходит замуж, навсегда распрощавшись с профессией товароведа. Замужество сыграло роковую роль в ее жизни. Мама как-то быстро смирилась, сникла, взвалив на себя тяжелый груз нескончаемых домашних хлопот и добровольно ограничив круг интересов детьми, мужем и его знакомыми. Спустя несколько лет трудно было узнать в расплывшейся, притихшей женщине хрупкую девушку с обворожительным взглядом, который когда-то сводил с ума молодых ребят и сокурсников по учебе.

Кто возьмется описать трагедию, разыгравшуюся в ее задумчивой и тихой душе? Я ничего этого не знал. Мне всегда казалось, что мама, простодушная и доверчивая женщина, которую мало интересовали события (она редко читала газеты и доверялась одному репродуктору), с трудом успевает за бурной меняющейся жизнью. Складывалось впечатление, что она поставила крест на своем развитии и, отгородившись от внешнего мира, ушла в себя. Мама была счастлива нами, своими детьми, до тех пор, пока это было возможно, пока мы жили вместе одной семьей. Видимо, в том и состояла вся ее жизнь с заботами и огорчениями, переживаниями и постоянными тревогами. Что толку теперь в этих признаниях? Ничего уже не поправить и маму не вернуть, как не вернуть назад промчавшегося мимо клубка жизни.

Снова и снова встает перед глазами полузабытый, выпавший из памяти эпизод. Раннее прохладное июльское утро, я возвращаюсь домой после взбалмошной и бессонной ночи, проведенной с друзьями в общежитии института. Двор еще пуст, тишина, но солнце уже встало и, словно прожектором, слепит глаза, тревожит и радует. Подходя к подъезду, вижу на крыльце маму в домашнем халате и с ужасом вспоминаю, что не успел ее предупредить. «Все, конец!» — думаю со страхом, и ноги, подгибаясь, сами замедляют ход. Мама неуверенно встает и делает шаг мне навстречу.

— А я и в милицию, и в морг уже звонила, думала, тебя в живых нет, — вдруг заплакала она и в изнеможении опустилась

на табурет. Оказывается, просидела на этом табурете всю ночь, с надеждой и тоской вглядываясь в обступившую темноту, и никому было ее утешить — отец в командировке, а Володя к тому времени жил отдельно.

— Мама, пойдем домой, неудобно, — я обнимаю ее за усталые плечи и отвожу на кухню, ставлю на плиту чайник.

Боже мой, сколько же я причинял ей страданий и беспокойства! А она все терпеливо сносила и гордилась моими успехами в учебе, часто повторяя, что, когда вырасту, непременно стану профессором, заработаю мешок денег и, конечно, полмешка отдам ей и она, наконец, разбогатеет. Не скажу, чтобы мы жили бедно, но такая уж у нее была поговорка.

Мама любила петь. Тихая, нескончаемая печаль слышалась в ее голосе, когда, склонившись над швейной машинкой, она подолгу напевала протяжные русские песни и мелодии юности. Пела трогательно, словно стыдилась своего голоса, бархатного, теплого, грудного, и пением буквально завораживала мое детское сердце. Казалось, в этот момент она понимает что-то такое, о чем нельзя говорить вслух, что можно неосторожно разрушить одним прикосновением. Я задерживал дыхание, вслушиваясь в странные непонятные слова:

Всё васильки, васильки,  
Сколько мелькает их в поле!  
Помню, у самой реки  
Их собирали для Оли.  
Оля возьмёт василёк,  
Низко головку наклонит.  
— Милый, смотри, василёк  
Твой поплывет, мой утонет!  
Милый тут вынул кинжал,  
Низко над Олей склонился.  
Оля закрыла глаза,  
Венчик из рук покатылся.  
Наутро пришли рыбаки.  
Олю нашли у залива.  
Надпись была на груди:  
«Олю любовь погубила».

Откуда она знала эту песню? Кто пропел ее маленькой неказистой девочке в глухом сибирском городке, и чем эта банальная история с душераздирающим финалом могла тронуть ее сердце? Может, своей неправдоподобностью (какая девушка не мечтает о яркой, романтической любви), или в песне ей пригрезился отзвук собственной судьбы, которая сложилась, наверное, не совсем так, как хотелось бы? А может, мама просто пожалела Олю, как жалела всегда убогих, несчастных и голодных. Помню, как у нас по воскресеньям отъедались на неделю вперед студенты из общежития — Сергей Маслов и Коля Калмыков. Мама готовила всегда много (на весь подъезд, как подшучивал отец): суп — так полную кастрюлю, макароны с мясом — так целую сковороду, беляши — полный чан с верхом. Все это уничтожалось в один присест и ничего не пропадало — рядом постоянно крутились приبلудные собаки и кошки.

Больше эту песню я нигде не слышал и запомнил ее с маминго голоса. Уже после ее смерти, за поминальным столом, Борис Домашников, известный художник, с которым отца связывала многолетняя, хотя и неровная дружба, высказал предположение, что автором стихов к песне мог быть Алексей Апухтин — русский поэт, автор нашумевшего в прошлом романа «Пара гнедых, запряженных зарею». Обрадованный возможной находкой, я быстро разыскал сборник стихов Апухтина и, действительно, в стихотворении «Сумасшедший» обнаружил похожие строки:

Да, васильки, васильки.  
Много мелькало их в поле.  
Помню, у самой реки  
Мы их собирали для Оли.

Правда, на этом похожесть обрывалась, и дальше следовала совершенно другая история, не лишенная драматизма и психологической достоверности, чего, к сожалению, не скажешь о самой песне, тяготеющей к простонародному грубоватому напеву. Если предположить, что Домашников прав, то каким образом произошла странная, резкая трансформация, приведшая к полному изменению смысла? Это осталось загадкой.

В конце шестидесятых, когда мы с братом учились в старших классах, между родителями вспыхнула ссора, замешанная на ревности, и былой домашний уют треснул по швам — в семье произошел окончательный разлад. Чтобы как-то обеспечить старость, мама пошла на работу. Устроиться по специальности не удалось (навыки товароведа были утеряны), и ее приняли контролером на стадион «Труд». Тот самый, где мы с Сашкой Ларионовым мальчишками бегали смотреть мотогонки, поболеть за Плеханова, Самородова и Кадырова. Каждый день, кроме понедельника, она ходила на работу, то с утра, то во вторую смену — к обеду, терпеливо и добросовестно отстаивала положенные семь часов. Мама часто жаловалась на головные боли — врачи обнаружили у нее повышенное артериальное давление — и спасалась только черноплодной рябиной. Ей была противопоказана стоячая работа, но другой не предвиделось и приходилось мириться. Когда мы окончили школу и поступили в ВУЗы — я в авиационный, Володя в БГУ, — у мамы появилось свободное время и она пристрастилась к книгам. Особенно ей нравился Бальзак, которого она читала и перечитывала неоднократно. Я посмеивался над ее хобби, а она редко говорила о прочитанном, видимо, не желая быть в тягость лишним разговором. Я неуважительно относился к маме, спорил по мелочам, доказывая свое, и она соглашалась со мной во всем, теряя последние остатки гордости. Этого не объяснить, когда любовь убивает себя. Постепенно угас, потерялся интерес к жизни, особенно, когда отец ушел к другой женщине.

Не могу забыть, как отплясывала она в новеньких румынских туфлях, не стесняясь своей полноты и радуясь неожиданной и красивой обнове. Эти туфли я купил ей в Москве, в универмаге на Новослободской. Не суждено было ходить в них — через два месяца, двадцатого ноября 1989 года, мамы не стало. Она скончалась одна, тихо и безропотно, в пустой квартире, не дождав-шись никого и не сказав своего последнего слова. Бессмысленно протестовать или возмущаться — не нам решать, кого впустить в этот мир, а кого отправить на вечный покой. Мы, как те васильки в поле, и у каждого свой час, когда Господь, вздохнув, сорвет последние лепестки — пора!

## ДВЕ БАБУШКИ

**Ж**аркий, бесконечно жаркий июльский день, пот градом бежит со лба, за окном надрывно и беспрестанно звенят трамваи, а по комнате разливается густой запах горохового супа, который, не усидев в кастрюле, предательски лезет через край. Вокруг обеденного стола хлопочет, всплескивая поварешкой и возвращая беспокойный горох на место, бабушка Софья. Мне десять лет, я сижу рядом на стуле и жду окончания привычной церемонии, чтобы получить свои законные пятнадцать копеек на кино. В «Родине» идет фильм «Горные мстители», а денег у меня нет. Отец уехал в командировку, у мамы не допросишься, значит, остается один вариант — баба Софья. Я знаю, она обязательно даст, даже если это ее последние деньги, и поэтому не волнуюсь.

— Сейчас, сейчас Сережа, будем обедать — твой любимый гороховый суп.

— Баба Софа, я не хочу есть, жарко.

— Ну и что же? Есть все равно надо, как же не есть. Ты чего так сморщился, зуб болит?

По правде сказать, сморщился я от предстоящей трапезы, придумывая на ходу, как бы ее избежать.

— Через полчаса в «Родине» кино начинается, — словно бы невзначай сообщаю я.

— Ну и хорошо, ты еще успеешь поесть, — успокаивает бабушка.

— Ну бабушка, не хочу я есть, пить хочу.

— Ах ты, господи, — и она, бросая все, спешит на кухню. Я встаю со стула, подхожу к раскрытому окну и с любопытством заглядываю вниз — высота притягивает и пугает. Я никак не могу понять, как получается, что люди, машины, лошади выходят такими маленькими, крошечными, вроде спичечного коробка, а я по-прежнему большой и высокий. Все двигается, бурлит, перемещается, словно кто-то водит их за собой — прямо как в кукольном театре!

— А вот и вода, — бабушка ласково смотрит на меня, вся свежая от радости, и я через силу пью.

— Пойду, баба Софа, опоздаю.

— Подожди, денег тебе дам.

Вот оно, счастье — заветная монетка в двадцать копеек. Поцеловав бабушку, я спускаюсь с пятого этажа по старой каменной лестнице и бегу, бегу по шумной улице, наскაკивая в спешке на прохожих, бегу туда, где сейчас будут показывать мой любимый фильм, ура!

Бабушка Софья была необыкновенно доброй женщиной, хотя ее частенько подводила рассеянность. Казалось, она отдаст все, что ни попросишь, ей совершенно ничего не было жалко, и быт ее не отличался особой организованностью. Каждый раз, заходя в комнату бабушки, я заставал одну и ту же картину — вещи и одежда лежали на кровати, стульях, комоде, на столе возвышалась гора невымытой посуды и посреди всего этого бегала, сутилась растрепанная хозяйка в халате на одну-две пуговицы. Завидев меня, она тут же переключала внимание — внуки у нее всегда на первом месте. У бабушки рано проявилась близорукость а, будучи на пенсии, она работала секретарем-машинисткой в Кировском нарсуде. Как-то в пятом классе я тайно отдал ей первые стихи, сгорая от нетерпения поскорее увидеть свои «шедевры» напечатанными. Получив через две недели желанные страницы, я забился в угол и разрыдался — такого количества ошибок не сделал бы и отъявленный двоечник.

Так безрезультатно завершился мой первый самиздатовский опыт.

Когда с годами вдобавок к слепоте прибавилась глухота, Софья Павловна была вынуждена оставить работу. Теперь она приходила к нам почти каждый день, часам к двенадцати (за два часа до ухода мамы на стадион «Труд»), выносила мусорное ведро и в задумчивости садилась на диван — тихая, застенчивая, болезненно-худая, как высохший осенний листок. Я расспрашивал ее о прошлом, она отмахивалась от моих вопросов и только когда под праздник мы с Володей брали гитару, оживлялась и просила спеть «Землянку». Стихи Суркова, еще не положенные на музыку, ходили из окопа в окоп, переписывались по множеству раз от руки, и именно они были вложены майором Овчинниковым в последнее прощальное письмо с фронта, навсегда оставшееся в памяти жены.

Бабушка Софья слушала очень внимательно. Восторженно

замирала, вскидывала седую голову и наклоняла ее к певцу, чтобы яснее слышать слова, которые, впрочем, знала наизусть. И на ее слепнувшие, белесые глаза понемногу накатывала одна слеза за другой.

Бабушка Оля — вторая по отцу — была строгой, работающей и набожной женщиной. Она жила возле реки, в дощатом бараке у Случевского парка. Два раза в год (на Пасху и Рождество) мы ходили к ней всей семьей в гости. Крохотный стол в небольшой комнатушке был весь уставлен снедью — тут и пироги с рыбой (кости из которой никогда не вынимались), с луком и яйцом, с творогом, всевозможные салаты, винегреты и неизменный — домашнего приготовления — праздничный кулич. У печки стояло ведро с колодезной водой, которую мы все любили пить, опуская в воду старинный деревянный ковш.

Трапеза разделялась на две части — сначала кормили детей, а затем садились за стол взрослые. Однажды, задержавшись, я оказался за одним столом с взрослыми и мне предложили выпить, налили полную рюмку вина — кагора. Недолго думая, я схватил рюмку и машинально, одним глотком выпил ее, так что сидевшая рядом мама не успела помешать. Все засмеялись, а баба Оля серьезно заметила:

— Смотри, Леня пьет, совсем как твой отец.

Я смутился и выбежал на улицу.

Мне было трудно с бабой Олей — я уважал ее и немного побаивался. Взгляд ее цепких и ласковых глаз смотрел испытующе, и это пугало меня, заставляло быть настороже. С годами наши отношения потеплели и мы сблизились — баба Оля подолгу и обстоятельно рассказывала о себе, о прожитой жизни. Я слушал ее рассказ, и мне не верилось, что эта сухонькая, сторбленная, с трудом передвигавшаяся старая женщина могла переломить судьбу и, бежав в Уфу из Елабуги в 1919 году от местных властей, самостоятельно устроить свою жизнь. В двадцать восемь лет вышла замуж и родила четырех детей, последнего — когда ей было уже тридцать пять. Через пять лет мужа не стало, грянули голод, разруха, война, а на руках малолетние дети, один из которых инвалид, ставший впоследствии художником, — мой отец Леонид Янович Круль.

В середине семидесятых, когда Ольга Кузьминична перестала выходить на улицу и по этой причине уже не могла посещать баню (в бараке, разумеется, не было горячей воды), я по заданию отца брал легковое такси и привозил бабушку к нам. В большой просторной ванной комнате ее заботливо мыла моя мама. Потом баба Оля пила чай, отдыхала и к условленному часу, извещая о своем прибытии гудком, снова подъезжало такси.

Как-то в один из таких приездов я обмолвился, что у меня есть пластинки с записями церковной музыки в исполнении знаменитой капеллы под управлением Юрлова. Баба Оля, заинтересовавшись, захотела послушать. Я включил проигрыватель и вышел, оставив ее одну. Спустя некоторое время, опасаясь, как бы чего не случилось (в комнате было слишком уж тихо) я осторожно открыл дверь и остановился, пораженный увиденным — над проигрывателем, склонив к нему маленькую седую головку, сидела, совершенно не двигаясь, баба Оля, а по комнате разлетались светлые звуки возвышенного песнопения. Это был двадцать четвертый концерт Бортнянского.

— Третий раз слушаю — замечательно поют, — со слезами прошептала старушка.

Не умея управляться с проигрывателем, она догадалась переставлять головку звукоснимателя на начало и, чтобы меня не беспокоить, слушала заново.

Двадцать лет, пока носили ноги, баба Оля пела в хоре Сергиевского собора. Особенное место в ее комнате занимал старый, послевоенного образца, радиоприемник, по которому она всегда слушала Ватикан. Незадолго до смерти бабушка подарила мне нательный крестик своего мужа, поляка Яна Романовича Круля, и Евангелие.

Две жизни, два характера, две несхожих и вместе с тем близких по перенесенным испытаниям судьбы — мои незасыхающие корни. Когда мы с братом приходим к маме, гостим на последнем ее пристанище в Затоне, то обязательно навещаем бабушек, оставляя на полузаросших могилах знаки внимания и нежности.



## Елена Усынина

Родилась в 1964 году. По образованию врач. Пишет сказки в стихах для детей и взрослых. Живет в Барнауле.



## КАК ИГНАТ К ВЕДЬМЕ ХОДИЛ

### 1

Давным-давно, в лесу дремучем,  
Где кроны закрывают свет,  
Где заросли — стеной колючей,  
Где прячется медвежий след...  
Ну, словом, там жила колдунья —  
И не стара и не юна.  
А в час урочный полнолуния  
Любила колдовать она.  
Была ли эта ведьма злая?  
Да так, шалила иногда...  
Но главное — она, не зная,  
Причиной страшного вреда  
Порою становилась, людям  
Невзгоды лютые несла.  
Возможно, был характер труден  
Из-за издержек ремесла...

Когда бывала в раздраженьи  
(Под руку тут не попади!),  
В одно ужасное мгновенье  
Вдруг вырывался из груди  
Той ведьмы вопль — силён и страшен!  
Как ураган, в горах обвал!  
Он и медведя до мурашек  
Порой ночью пробирал.  
Тот крик был истинно тлетворен,  
Он искажал земной эфир.  
И вместе с ним слепое горе  
Стеная, вырывалось в мир.  
О чём печалилась колдунья —  
То нам неведомо. Что ей —  
Грусть, меланхолия, раздумья,  
То — злое горе для людей.  
Оно гуляло без утайки,  
Шло от села к селу, пока  
Из сердца и души хозяйки  
Не уходила прочь тоска.

Но день настал — прознали люди  
Про ведьму и её печаль.  
Решили — хуже ведь не будет! —  
С посыльным поднести ей шаль.  
Пускай порадует ажуром  
Колдунью ласковый платок.  
Авось, да и смягчит натуру.  
Да и народу выйдет прок.  
Посыльным выбран был Игнатий,  
Что жил в избёнке на краю.  
Он неохотно слез с палатей —  
Тепло, уютно, как в раю,  
Но делать нечего — забота.  
Собрал, без хитростей, мешок,  
И пряча в кулаке зевоту,  
Пошёл, взяв в руку посошок.

Игнатий, что скрывать, немного  
Ленив... А кто тут без греха?  
Кто чистенький? Побойтесь Бога,  
Завидней нету жениха!  
К хозяйству мал мало привычен,  
Не пьёт вина и не дымит,  
Широк плечами, голос зычен,  
А в танцах — чистый динамит.  
Но вот невесты на деревне  
Его обходят стороной...  
Мол, женишок-то больно древний,  
Шептались за его спиной.  
Но это глупости, поверьте,  
Чистейший вымысел, навет!  
Он жил, не думая о смерти,  
И не считал ни дней, ни лет.

Реки прохладная ложбинка,  
Синь-бирюза над головой,  
Затейливо бежит тропинка,  
Весенний лес шумит листвою.  
Вот где рыбалка и охота!  
Игнат, конечно, был бы рад...  
Но не сейчас, домой охота.  
Вручить — да и махнуть назад.  
Чего растягивать резину,  
Зачем за хвост тянуть кота?  
Надеть платок на образину,  
И восвояси, от винта.

Как долго шёл Игнат до цели —  
То неизвестно никому.  
Но вот деревья поредели,  
Рассвет сменил ночную тьму  
И обнаружил наш зевака  
Поляну и избу на ней.  
Игнат подумал, что, однако,  
Не видел домика чудней...

2

Раскрашен яркими цветами,  
Причудливым узором сплошь,  
Но... по секрету, между нами,  
Домишка всё же не хорош.  
Он, судя по всему, не видел  
Мужскую руку никогда.  
На первый взгляд-то миловиден,  
Но вот с завалинкой — беда,  
Висят на окнах ставни косо,  
В густой траве лежит плетень.  
Герой шмыгнул протяжно носом,  
И тут же (на тебе!) — ступень,  
Возьми, да и сломайся с треском,  
Лишь на неё взошёл Игнат.  
Сгнила, похоже, не железка...  
Пора стучаться. «Свят, свят, свят!»  
Но дверь сама открылась... Боже...  
Пришелец отшатнулся: «Ой!...»  
Хозяйка — на Ягу похожа!  
— Ты как сюда... Ты кто такой?!

Страшней не может быть личины!  
Да здесь нужна не шаль, а ствол.  
Хотя бы посох из осины.  
И чтоб заточен был, как кол.

— Я... это... здесь... принёс подарок...  
— Какой подарок?.. Ты о чём?  
Ну отвечай же, перестарок!  
Что, рот замазан сургучом?

— Да нет, я это... просто мимо...  
Тут шёл, подумал... может шаль...  
Вам подарить... высокочтимой...  
Пойду я... Мне, конечно, жаль...

О, нет!.. Да это что ж такое?..  
Бежать, забыть как страшный сон!  
Казалось, дело-то благое...  
Поставить жизнь свою на кон?!  
Ну нетушки! Пускай поищут  
В селе другого дурака.  
А наш Игнатий и за тыщу...  
Он бережёт свои бока.  
Нет, он совсем не трус... А впрочем,  
Что ждать-то от неё, как знать?  
В душе героя всё клокочет!  
Увольте — с бабой воевать.  
Решив, что надо «делать ноги»,  
Он взад попятился — бывай...  
Но тут же ведьмы голос строгий  
Его окликнул:

— Так давай!

Подарок-то, давай, скаженный.  
Чего ты там принёс-то... Ну?

Игнат, с улыбкою блаженной:  
— Да вот... безделицу одну...

Он из мешка достал проворно  
И тут же развернул платок.  
Ай, красота... На фоне чёрном  
От каждой розы — завиток.  
А ткань-то, ткань, приятна коже,  
Уютно, нежно так и льнёт.  
На колдовской косматой роже  
Как будто чуть подтаял лёд...  
Ей нравится — счастливый случай!  
Всё ж женщина, хоть и дурна.  
Но тут же вновь сгустились тучи.

— Что со ступенькой, чья вина?  
А ну, давай, чини, треклятый!

Не думай, спуску я не дам!  
Как заходить теперь в палаты?!  
— Простите грешного, мадам...  
Я почию... я по незнанию...

И взял пилу и молоток  
(Вот, право слово, наказание —  
Хоть чаю бы дала глоток!),  
Пришлось Игнату потрудиться.  
Он, в поте крепкого лица,  
Испив из ручейка водицы,  
Наружность обновил крыльца.  
Пока возился — дело к ночи.  
Все звуки прочие глуша,  
Урчит живот — он, между прочим,  
Не ел сегодня ни шиша!  
Но главное — сбежать отсюда,  
Да побыстрее взять разбег,  
Пока не видит чудо-юдо.  
Найдётся где-нибудь ночлег...

\*\*\*\*\*

Ну, слава Богу, даже плечи  
Расправились и лёгок шаг.  
Игнат ушёл уже далече,  
В лесу давно стусился мрак,  
И он, на голод невзирая,  
Забылся безмятежным сном,  
Найдя себе кусочек рая  
Под пышным, девственным кустом.  
А утром понял, куст — боярка<sup>1</sup>!  
Лесная ягода — вкусна!

---

<sup>1</sup> Боярышник — кустарник с красными съедобными ягодами.

Эх, хорошо — светло, не жарко.  
Умыться в ручейке со сна,  
И в путь, не чувствуя усталость,  
Свистя бесхитростный напев.  
Игнат прошёл уже немало,  
Когда деревья, поредев,  
Открыли радостному взору...  
(Да как же так, ядрёна вошь?!)  
Домишко, что покрыт узором  
И яркими цветами сплошь...

### 3

Не может быть... Ну нет, ребята.  
Бежать... дорогою другой.  
Да будь же хижина треклята,  
Сюда он больше — ни ногой!  
Но вот беда, всё мрачноватей  
Ему казался небосклон —  
Увы, куда б ни шёл Игнатий,  
К избушке возвращался он...  
Так, целый день водимый лихом  
Бродил по лесу наш герой.  
А вечером в избушку тихо  
Он постучался, сам не свой.  
Хозяйка гостю отворила  
И даже пригласила в дом.  
При этом (странно), не спросила  
И не сказала ни о чём.  
Ему (здесь может быть ошибка),  
Почудилось, но лишь на миг,  
Что очень странная улыбка  
Несносный посетила лик.  
Краюшку хлеба (голод волчий!),  
Он, не задумываясь, смёл.  
Потом она — опять же молча —  
Дерюгу бросила на пол,

Сама же улеглась у печи,  
За занавескою льняной.  
А наш герой широкоплечий  
До петухов обрёл покой.

\*\*\*\*\*

Наутро, осмотрев избушку,  
Он понял, что хозяйки нет.  
Игнатий почесал макушку  
И вышел в розовый рассвет.  
Эх, хорошо необычайно!  
В травинках ветра шепоток...  
А на крыльце стоит (случайно?)  
С пилой и молотком лоток.  
Вздохнув протяжно и глубоко,  
Подумал: «Глупый доброхот...»  
Ведь вон как повернулся боком  
С благими целями поход!  
Но делать нечего. Отсюда  
Ему дороги нет пока.  
И, чтобы не случилось худа,  
Взялась за молоток рука.

Хозяйкой-ведьмою покинут  
Герой трудился целый день.  
Почти не разгибая спину.  
И вот уже стоит плетень,  
Завалинка обшита тёмсом,  
Цветные ставни на окне  
Висят уже совсем не косо  
И закрываются вполне.  
Колдунья с травами в корзине  
Пришла позднечко, ввечеру.  
Но — не понять по образине —  
Пришлось ей это по нутру?



Наутро действие повторилось —  
Лоток и... лестница к стене.  
Ах, вот что — крыша прохудилась...  
Ну что ж, понятно всё вполне...  
Э-хе-хе-хе... Прошла неделя,  
Игната хмурится лицо.  
Вот если б можно, как Емеля —  
Сказать волшебное словцо,  
И чтобы вовсе не работать,  
И чтобы всё — само собой.  
Но — позади уже суббота,  
Идут заботы чередой...  
Хотя... из старой развалюхи  
Он сам (представьте!) сделать смог,  
Без толкача и оплеухи,  
Игрушку, ладный теремок!

Воскресным днём, не очень рано,  
Игнат выходит налегке...  
Что за видение... как странно...  
Он видит, что невдалеке —  
Под сенью ели стол явился,  
На нём — блестящий самовар.  
Игнат немало удивился,  
Струится легковесный пар...  
А рядом суетится... Кто же?  
По виду — вроде молода...  
И хороша собой, похоже.  
Когда она пришла сюда?..

#### 4

Игнатий подошёл поближе  
И барышне сказал:  
— Привет!  
Ты здесь бывала, как я вижу...

Чуть позже получил ответ:  
— Да, да, бывала, но... давненько.

Её он будто напугал...  
— А я Игнат... Сломал ступеньку,  
Потом... по дому помогал...  
А где хозяйка? Не вернулась?  
Вот это ведьма, я скажу!  
Похоже, что совсем рехнулась.  
Хожу как будто по ножу...  
А ты зачем сюда? По делу?  
— Я ей... племянница.

— Ах, так... —

Его лицо слегка зардело. —  
Я говорить-то не мастак...  
Как звать тебя?  
— Меня? Арина... —

И отвела в сторонку взгляд.  
Наверное — решил мужчина —  
Стесняется. Но он-то рад!

Она накрыла стол — ватрушки,  
Грибы, соленья, каша, мёд.  
От предвкушения пирушки  
Кругами голова идёт!  
Он жил всё это время (мука!)  
На корке хлеба и воде!  
Хозяйка — суцая гадюка,  
Стесняла мужика в еде.

— Прошу к столу! — Но отчего же  
Она не смотрит на него?  
И... на кого она похожа?..  
Пока что не понять сего...

Какое славное застолье,  
Как угощенья хороши!

И потчевала хлебом-солью  
Она Игната от души —  
Хозяйка, видно, — золотая.  
А он, тихонько, между дел,  
Ватрушки с мёдом уплетая,  
Лицо племяшки разглядел.  
Она на тётку и похожа!  
Как и у той — дугою бровь.  
Но здесь — лицо... У тётки — рожка.  
Игнат вздохнул: «Родная кровь...»  
А впрочем (да при чём здесь тётка!),  
Арина хороша, стройна.  
И сразу видно — не кокотка.  
И возраст ладный, не юна.

— И всё ж, однако, где старуха?  
Где этот монстр во плоти? —  
Спросил герой, набравшись духа. —  
За грубые слова... прости...  
— Она ушла... Ей вроде надо...  
Кого-то надо повидать... —  
И встретившись с Игнатом взглядом: —  
Тебе ж велела передать,  
Что, мол, ушла по делу в город,  
Игнату — низкий мой поклон,  
Вернусь, скорей всего, нескоро.  
Ещё скажи — свободен он...

\*\*\*\*\*

Ну наконец-то! Он свободен.  
Наутро — дождь как из ведра.  
Зачем идти по непогоде?  
Природа-магушка мудра...  
Проходит день, второй и третий.  
Игнат в дорогу не спешит.

То скажет: «Нынче сильный ветер»,  
То: «Слишком солнышко слепит»,  
То: «Надо погребок почистить»,  
То: «Заготовить впрок дрова».  
И взгляд его был всё лучистой,  
И стала зеленой трава...

Вы не поверите — Игнатий  
Там и остался с этих пор.  
Годочком позже стал он тятей,  
А малыша назвал — Егор.  
Ещё с тех пор не стало худа,  
Над лесом прекратился вой.  
Что интересно — страхолюда  
Не забрала подарок свой.  
Ах, как же шаль идёт Арине,  
Ей больше двадцати не дать!  
Лицо — как ангел на картине,  
Красотка, глаз не оторвать!

А, кстати, что же с ведьмой случилось?  
Она ведь так и не пришла.  
Неужто в городе осталась?  
Где спрятался источник зла?  
Наверно, заплутала где-то...  
Чудно... Но что ещё чудней —  
Что никогда, никто при этом  
С тех пор не вспоминал о ней...

## Валерий Казаков

Родился в 1955 году в селе Русский Турек Уржумского района Кировской области. Окончил лесной техникум. Работал на заводе, художником-оформителем, кочегаром, лесником. Публиковался в центральных и региональных журналах. Лауреат всероссийских литературных премий им. В. М. Шукшина «Светлые души» (2014), им. Н. А. Заболоцкого и др. Член Союза писателей России.



## БУХГАЛТЕР

**В**асилий Николаевич работал счетоводом в бухгалтерии Хлебоприемного предприятия, которая располагалась на втором этаже бывшего купеческого здания. Он приходил на работу раньше всех, доставал из шкафа счет под номером «76-5» и начинал разносить по карточкам данные, полученные за последнюю неделю. Его лохматая голова, склоненная над журналом движения хлебопродуктов была неподвижна, очки сползли на кончик мясистого носа, а полные губы всегда были плотно сжаты. Каждый день он появлялся на работе в стареньком сером пиджаке, темных брюках и резиновых сапогах. Василий Николаевич был полноват и неряшлив. Женщины в бухгалтерии иногда говорили, что от него пахнет козлом.

Василий Николаевич держал в хозяйстве коз с той поры, когда остался один без жены и ребенка. Они с женой завели коз, чтобы у малолетнего сына всегда было свежее молоко, а потом, когда жена по какой-то причине уехала в город к родителям, козы остались и прижились.

Каждый вечер Василий Николаевич выходил со своими козами на прогулку. На прогулке он был одет в серое демисезонное пальто, литые резиновые сапоги, а в руке держал том Владимира Пикуля. Василий Николаевич очень ценил романы этого писателя и порой пробовал убедить меня в том, что Пикуль лучший писатель современности. Василий Николаевич уверял, что в книгах Пикуля нет ни одного лишнего слова — только исторические факты, рассказанные хорошим и понятным литературным языком.

В конторе Хлебоприемного предприятия Василий Николаевич сидел рядом со мной. Он был лет на двадцать старше меня, но я почему-то этого не чувствовал. В этом человеке было нечто детское, так свойственное одиноким мужикам, которые нигде не бывали, ничего не видели и поэтому лесные свои потемки в минуты пьяной радости склонны были считать раем на земле.

После очередной полочки Василий Николаевич обязательно брал в магазине бутылку водки, банку кильки в томатном соусе и исчезал на обширной территории Хлебоприемного предприятия. Выпивали они вместе с кладовщиком Геннадием Сергеевичем где-нибудь за мрачными мучными складами, на берегу Вятки, в зарослях густого чернотала. После первого стакана Геннадий Сергеевич становился весело суетливым, начинал невпопад прихохатывать, а Василий Николаевич вспоминал свои молодые годы и удивлялся: как быстро они прошли. Вот он уже и брюшко отрастил, и на женщин почти не смотрит. Ну, разве что из любопытства.

— Раньше-то бывало, на хорошую женщину посмотрел — и штаны оттопырились на опушке.

— Ха-ха-ха, — красноречиво соглашался Геннадий Сергеевич. — По молодости со мной тоже случалось такое. Ха-ха-ха. Тоже случалось.

— А сейчас, сколько ни смотри — ничего не происходит. Зато жить стало спокойнее. Ни о чем дурном не думается. Не надо лишнего переживать. Говорят, переживания вредят здоровью.

— Точно. Ха-ха. Вредят. От баб одни гадости.

— Одному лучше.

— Понятное дело. Лучше одному-то.

Но когда приходила осень, Василия Николаевича одолевали грустные мысли, угнетало одиночество. Ему казалось, что жизнь

уже прожита, она начинает приближаться к концу, к своему логическому завершению, а он еще ничего толком не успел. Ни любви настоящей у него не было, ни духовного взлета, ни захватывающего сладким грехом падения.

Чтобы освободиться от тоскливых мыслей, он выгонял из сарая небольшое стадо коз и шел с ними на прогулку. На природе ему становилось легче. Вместе с козами Василий Николаевич выходил к речке, за которой возвышалось староверское кладбище. Какое-то время он прогуливался вдоль берега, заросшего крупными и корявыми ветлами, а потом по шаткому бревну перебирался на другую сторону реки. Козы вслед за ним проделывали то же самое.

Василий Николаевич гулял по кладбищу меж старинных мраморных надгробий и читал надписи. Одна из них гласила: «Здесь покоится раба божья Марфа Игнатьевна Бушкова, которая скончалась в Казани 10. 11. 1889 г. в возрасте 53 лет». Василий Николаевич останавливался возле красивой могилы и вздыхал: «Совсем молодая померла». Потом шел дальше, и снова читал: «Под камнем сим покоится раб божий Шамов Степан Фёдорович, умерший 12. 01. 1892 г. в городе Н. Новгороде в возрасте 57 лет». «И этот тоже до пенсии не дотянул», – снова сетовал Василий Николаевич.

Осенней порой старый бухгалтер любил прогуляться по кладбищу среди красивых мраморных надгробий, но всегда подолгу задерживался только у одной могилы, которая была чуть в стороне от остальных, скрытая от посторонних взглядов густой зарослью акаций. Надгробье этой могилы было очень живописным, и выбито на черном мраморе здесь было нечто жалостливое, даже можно сказать поэтическое. Василий Николаевич подходил к мраморной плите и читал: «Под камнем сим покоится наша любимая дочь, раба божья Таисия Бушкова, утонувшая 2. 06. 1861 г. при купании. Ей было 17 лет». Василий Николаевич представлял себе юную нимфу с русыми кудряшками на голове, которая медленно заходит в теплую воду, и его охватывало какое-то странное грустное томление, как будто Таисия была его родственница. Он наклонялся над холодной могильной плитой и проводил по ней рукой, сгребая первые желтые листья. На темном мраморе после

этого оставались влажные следы от его пальцев — четыре неровные полоски — росчерк его скорби.

Созерцая красивые надгробья из черного мрамора, Василий Николаевич сожалел, что когда он умрет, никто ему такой памятник не поставит и такой красивой надписи не напишет. Это, наверное, очень дорого.

Дальше на кладбище, если идти вдоль реки, находились памятники советской поры, и читать на них было совершенно нечего — только имена, фамилии, даты рождения и смерти. Хорошо еще, что на некоторых памятниках были фотографии. Так по крайней мере Василий Николаевич мог вспомнить того человека, о котором гласила крохотная табличка.

Иногда, когда Василий Николаевич вспоминал умершего односельчанина, он вдруг спохватывался: «Неужели этого человека уже на свете нет?» А Василию Николаевичу казалось, что он куда-то уехал на время. Но все чаще оказывалось, что его прежние знакомые никуда не уезжали. Они тихо и незаметно умирали, а он успевал о них забыть...

Вот так же, скорее всего, забудут и о нем. Тем более что он человек одинокий, никому не нужный... И что это он в последнее время так часто гуляет по кладбищу? Как будто пойти больше некуда...

И вдруг Василий Николаевич отчетливо осознал, что, и правда, некуда больше пойти. Колхозные поля далеко, да к тому же они заросли репейником. А кладбище рядом. И козочки на просторном кладбище заняты своим делом. Тут было много низкорослых кустарников, молоденьких акаций и рябин. Козы очень любили скусывать с них тонкие веточки и листочки. Серебристый свет осени струился на могилы сквозь кроны деревьев косыми пучками. В дальнем конце кладбища пели хриплыми голосами какие-то незнакомые птицы, а может быть, пьяные мужики. Так сразу и не разберешь. Василий Николаевич утомленно присаживался на случайную могилку и сонно наблюдал за козами. В это время козы были ему как шаловливые дети, как дальние родственники. Иногда в такие минуты Василия Николаевича охватывал мимолетный восторг. «Как хорошо! — думал он. — Как красиво! И тишина, и чистый воздух, и шелест листвы». Только этот восторг



не длился так же долго, как в детстве, а скоротечно затихал, погребенный под ворохом насущных проблем...

Когда Василий Николаевич возвращался домой, был уже вечер. Козы понуро шли за ним, и Василий Николаевич с досадой замечал, что старая коза вся в репье. У старой козы была густая и длинная шерсть какого-то неопределенного серого цвета. Василий Николаевич долго собирался ее остричь, но руки все не доходили, все как-то не хватало времени...

Осенью молоко у старой козы начинало горчить, да и сам Василий Николаевич становился раздражительным. Приходил на работу мрачный, открывал амбарную книгу и с недоумением смотрел на серые листы, исписанные корявыми колонками цифр. В такие минуты он отчетливо понимал, что амбарная книга – это единственное его детище, его творение, которое является неким важным средоточием его бухгалтерского искусства. За точность и своевременность ее заполнения Василий Николаевич много лет получал приличные деньги. Он относился к этой книге бережно. Знал, где в ней небольшая помарка, где оторван краешек листа, в каком месте появилось желтоватое пятнышко неясного происхождения. И если требовалось что-то исправить в амбарной книге, то Василий Николаевич всегда делал это с неким внутренним беспокойством, как будто разрушал привычную композицию очень дорогого ему произведения. Вносил в нее беспорядок и дискомфорт.

Да тут еще, как назло, грянули рыночные реформы. Василий Николаевич долго не мог понять, что это такое? Важные государственные люди в телевизоре говорили одно, а кругом творилось совершенно другое. И только после того как весь товар, хранящийся на складах Хлебоприемного предприятия, вдруг стал расти в цене не по дням, а по часам, Василий Николаевич понял, что в России произошло что-то страшное. И сейчас его амбарная книга уже ничего не значит. Она потеряла свое значение, весь свой сокровенный смысл. И сам он в этой новой стране тоже, видимо, уже ничего не значит.

Козы Василия Николаевича к осени стали какими-то беспокойными. Они то рвались на улицу, то блеяли и не выходили со двора, как будто там, за воротами, их ожидала неминуемая гибель.

Вскоре Василию Николаевичу объявили, что в конторе Хлебоприемного предприятия ожидается сокращение. Дали на подпись какую-то бумагу. Не думая ни о чем плохом, старый бухгалтер ее подписал.

Прошло еще несколько дней, заполненных заготовкой сена на зиму, прополкой огорода, какими-то неотложными делами. И тут вдруг как-то совершенно неожиданно и некстати ему сообщили, что он – первый кандидат на увольнение. Что его амбарная книга – это рудимент, тормоз на пути продвижения передовых рыночных реформ, что все данные о зерне сейчас будут храниться в компьютере, в непривычной для старого бухгалтера электронной базе.

Для Василия Николаевича это было как гром среди ясного неба. Он долго не понимал, что произошло. Как он сейчас будет жить? За счет чего, на какие деньги?

Какое-то время Василий Николаевич надеялся, что эти смутные дни скоро пройдут и все наладится. Все будет, как прежде. Как же это можно обойтись без бумажных пропусков на территорию Хлебоприемного предприятия, накладных и амбарных книг? Как можно обойтись без понятных всем колонок цифр на бумаге, где каждая колонка что-то значит, о чем-то говорит и написана его рукой.

Но увольнение с работы произошло в положенный срок, и ничто этому увольнению не помешало. Уже проходя по коридору конторы к выходу, Василий Николаевич неожиданно остановился в дверях и, не глядя ни на кого конкретно, сказал дрожащим от обиды голосом:

— Добились своего, оставили человека без работы... Молодцы!

— А мы-то тут причем? – искренне удивился главный бухгалтер. — Это не наша затея. Сейчас везде сокращения идут, не только у нас.

— Идут. Знаю я, как они идут, — снова заговорил Василий Николаевич. — Вы всегда отговорку найдете. Сами-то, небось, остались на своих местах. Вы — нужны, а я — не нужен. Ну да Бог видит, кто кого обидит.

И Василий Николаевич ушел из конторы, шаркая по паркетному полу грубыми подошвами литых резиновых сапог.

После его ухода я какое-то время испытывал странную неловкость. Мне казалось, что это я должен был оказаться на его месте. Я моложе его, я хуже разбираюсь в бухгалтерских делах. И вообще, если честно признаться, бухгалтерский учет – это не мое призвание. Я здесь чужой... Что из того, что я прекрасно работаю на компьютере. Меня вовсе не тянет заносить в него нелепые колонки цифр, набирать на нем платежные поручения и требования. Для меня компьютер — это окно в большой мир, где можно общаться с друзьями, находить что-то новое, интересное.

Продвигаясь в тот день домой по темным осенним улицам, я то и дело вспоминал про Василия Николаевича. Как он там в своем крохотном домишке возле кладбища — один, без работы, без денег?

Позднее я узнал, что Василий Николаевич зарегистрировался на бирже, как безработный. Что он стал выпивать, то и дело ссорился с соседями из-за какой-то межи, на которой он косит сено. Потом мне сказали, что козы его бродят по осенним улицам одни.

Ближе к зиме я уволился из конторы и перешел на работу в местное лесничество. Про Василия Николаевича я долго ничего не знал, пока однажды в делянке не встретил нашего общего знакомого, кладовщика Хлебоприемного предприятия Геннадия Сергеевича Бушкова. Мы разговорились. В разговоре я упомянул про Василия Николаевича, потому что давно его не видел и не знал, чем он сейчас занят. После этого Геннадий Сергеевич посмотрел на меня как-то странно, почти что испуганно и с деревяннным лицом пояснил:

— А Василия Николаевича нет. Две недели назад мы его похоронили.

— Как похоронили? Что с ним произошло?

— Говорят, паленой водкой отравился. Один жил, близких друзей у него не было, поэтому его поздно хватились... Нашли на местном кладбище, возле какой-то старой могилы с мраморным надгробьем. Говорят, на похороны сын приезжал, жена. Отыскались какие-то дальние родственники.

— А я думал, что он куда-то уехал, — обронил я первое, что пришло мне в голову.

— Куда ему ехать? — удивился Геннадий Сергеевич. — Кому сейчас старики нужны?

## БАНЯ

**Н**иколай Алексеевич решил поставить возле дома новую баню. В старой бане нижние бревна наполовину сгнили, из-за этого она сильно накренилась на один бок и стала напоминать ветхую избушку. К тому же зимой она долго натапливалась, и пол в ней всегда был холодный.

В середине лета он приступил к строительству бани. Выбрал удобное место в углу сада, возле рябины. Выкопал траншею под фундамент, заполнил ее битым кирпичом, который обнаружил в старом малиннике возле лога. Потом на своей машине привез из города два мешка цемента и только после этого вспомнил, что для заливки фундамента, кроме цемента нужен еще песок. Тракторная телега речного песка обошлась ему в тысячу рублей. Николай Алексеевич понимал, что такая огромная куча песка ему не нужна, но продавать песок мелкими партиями почему-то никто не хотел.

Вскоре возле строящейся бани появилась гора свежего соснового бруса, штабель досок, красные кирпичи и шифер. Новый строительный материал радовал глаз, поднимал настроение, но одновременно Николай Алексеевич удивился тому, как много денег на это потребовалось. По его подсчетам, он потратил на строительные материалы никак не меньше сорока тысяч рублей.

Для того чтобы в дальнейшем немного сэкономить, он решил заняться строительством бани самостоятельно. Для начала нужно было залить цементным раствором готовую траншею под фундамент. Для приготовления раствора он решил использовать старую детскую ванну, которая без дела стояла в дровянике. С большим энтузиазмом Николай Алексеевич сделал первый замес, потом – второй, третий. Вылил все это в траншею для будущего фундамента, потом обошел ее по периметру и удивился тому, что в траншее почти ничего не изменилось. Не прибыло.

Цементный раствор едва просматривался в просветах между кирпичами на самом дне.

Обильно потея, Николай Алексеевич стал замешивать цемент снова. Еще раз, еще. Торопился, носил песок ведрами из кучи возле дороги, воду наливал из водопроводного шланга. Снова обходил фундамент и снова поражался тому, как медленно продвигается его работа. Когда свою баню строил сосед Николая Алексеевича, у него вся эта работа получилась как-то играючи, как-то очень ловко и быстро.

В какой-то момент Николай Алексеевич даже засомневался в своих строительных способностях. Может быть, он делает что-то не так? Из-за этого работа у него не клеится.

Так, сомневаясь и переживая, с небольшими перекурами он трудился до обеда. А в обед пришла с работы жена и неожиданно сделала ему выговор за неправильное использование детской ванны.

— Для чего это ты ванну-то вытацил? — грубым голосом выговорила жена. — Она же эмалированная.

— Ну и что? — обиженно отозвался Николай Алексеевич.

Он стоял перед женой потный и грязный — такой, каким он никогда не хотел быть в жизни.

— Ты у нее эмаль отобьешь. Потом она заржавеет, — пояснила жена.

— А где же мне... в таком случае цемент разводить?

— Где хочешь, там и разводи, только ванну эту не трогай, — категорично отрезала жена и с недовольным лицом проследовала в дом.

У Николая Алексеевича и до этого разговора настроение было не самое лучшее, а после неожиданной словесной перепалки оно окончательно испортилось. Можно сказать к настоящему строительству он еще даже не приступил, а жена уже вставляет ему палки в колеса. Ну, что за человек! Что за натура! Ему захотелось махнуть на все рукой и нанять бригаду шабашников, которые обдерут их с женой «как липку». Вот тогда Анастасия Павловна поймет, каково это – обижаться на мужа, когда он делом занят. Тогда она оценит его усердие. Тогда она мигом во всем разберется.

Но прошло несколько дней, и обида Николая Алексеевича постепенно улеглась. Он с прежним энтузиазмом принялся за фун-

дамент. Закончил его, потом уложил на фундамент два ряда бруса, принялся было за третий ряд, поднял выше пояса одну дровяшку, вторую — и тут неожиданно почувствовал острую боль в спине. Это обстоятельство перечеркнуло все его дальнейшие планы. Слегка прихрамывая, он направился в дом, чтобы немного передохнуть и расслабиться. Дома намазал спину какой-то пахучей мазью и без дела пролежал на диване около часа, надеясь, что боль за это время утихнет. Так с ним уже случалось. Но когда после отдыха попробовал подняться, понял, что боль никуда не делась, а скорее наоборот — даже усилилась. Да тут еще к боли в спине неожиданно добавились грубые слова жены, неумелая трата денег, которую он произвел, жалость к самому себе, ощущение растерянности.

Николай Алексеевич остался лежать на диване, и через какое-то время ему стало казаться, что Анастасия Павловна, увидев его такого больного и такого разбитого, все ему простит. И ванну, и неумелую трату денег, и несговорчивость. Она его обязательно пожалеет, потому что любит. Ощутит свою вину перед ним. Поймет, что это все он делает не для себя — для нее, для детей. Но когда вечером заговорил с ней о своей усталости, о потраченных деньгах, о боли в спине, то услышал от нее такую фразу:

— Я тебя не заставляла всем этим заниматься. Ты сам придумал.

— Но... я хотел как лучше. Старая-то баня скоро совсем развалится.

— Как лучше он хотел, — огрызнулась жена. — Сам ничего делать не умеет и за все берется. Надо было настоящих плотников нанять, а не тормозиться самому зря.

Николай Алексеевич после этих слов на какое-то время даже растерялся. Сейчас его переполняла уже не обида, а самая настоящая ненависть к этой полной и краснощекой женщине, которая стоит перед ним с независимым видом и совершенно не собирается его понимать. В ней нет к нему ни капли сочувствия. Только неприязнь.

— Ну, какой из тебя плотник, скажи мне на милость? Ты же никогда ничего не строил.

— Я видел, как делают это другие, — оправдался Николай Алексеевич.

— Вот бы и обратился к ним за помощью. К этим другим... Вон, у нашего соседа сын целый год без работы сидит. А руки у него золотые.

Николай Алексеевич давно заметил, что о практических делах с женой ему лучше не разговаривать. В словах жены почему-то всегда присутствует железная логика, строгий рационализм. И почему-то так получается, что его жена почти всегда оказывается права, даже тогда, когда на первый взгляд прав должен быть он. Он проявляет большую заботу о семейном бюджете, он старается экономить, старается делать все своими руками. Пусть иногда это у него не получается. Все равно, это не дает ей права диктовать ему свою волю.

— Ну и нанимай своего соседа, если тебе денег не жаль, — наконец проговорил он, не поднимаясь с дивана.

— И найму.

— И нанимай, — повторил Николай Алексеевич с раздражением.

— Вот завтра же схожу к ним и поговорю. А то настроишь так, что после тебя все придется переделывать. В старой бане зимой с полу холодом несло, и в новой будет то же самое.

Николай ничего не ответил жене, только тяжело вздохнул и отвернулся от нее лицом к стене. Надо же, какая скверная женщина. Он так и не дождался от нее слов сочувствия. И для чего только взялся за это строительство? Знал же, что ничего хорошего из этой затеи не получится... Или не знал? Надеялся, что на этот раз все будет по-другому.

— Я больше никогда ничего строить не буду, — обиженно буркнул он, не поворачивая головы.

— Чего? — не поняла мужа Анастасия Павловна.

— Больше ничего строить не буду, говорю.

— И не строй. В наши годы нужно уже отдыхать, а не заниматься тяжелой работой.

— А как же баня? — не понял Николай Алексеевич.

— Я же сказала — завтра к соседям схожу, поговорю.

— Ждут они тебя, — с обидой огрызнулся муж.

— Ждут, не ждут, а поговорить никто не откажется.

И снова в словах жены Николай Алексеевич почувствовал

правоту. Этим словам он ничего не сможет противопоставить. Скорее всего, он стал уже больным и старым. И на него сейчас действительно нет никакой надежды. А коренастый сосед с безработным сыном, вполне возможно, согласятся немного подзаработать. Мужики они здоровые, крепкие, привычные к тяжелому труду. Но обиднее всего было то, что он лежит на диване с больной спиной и у него такое чувство, будто ничего нужного для семьи не совершил, не сделал. Все его усилия пропали даром. Все было зря... И зачем только он взялся за это строительство? Надо было просто сесть и поговорить обо всем с женой. Тогда все было бы по-другому.

В тот вечер Николай Алексеевич долго не решался попросить жену намазать ему больную спину какой-нибудь мазью. Думал, что она опять скажет ему гадость или укорит за несговорчивость. Но когда, наконец, решился, она с готовностью согласилась. Подошла, села на краешек дивана и стала водить теплой рукой по больной спине. И от этого ее прикосновения ему сразу сделалось легче. Он почувствовал в ее руках столько заботы, столько нежности и сочувствия, что забыл обо всех своих прежних обидах и переживаниях. Одного этого прикосновения было достаточно, чтобы понять — она его по-прежнему любит. Она жалеет его, она желает ему добра. Он растрогался, почувствовал, что его глаза наполняются влагой и поскорее прикрыл их, чтобы она ничего не заметила.



## Николай Богормистов

Родился в 1941 году в Алтайском крае. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Работал корреспондентом в областных газетах, редактором на ГТРК «Алтай», главным редактором газеты «Наш Новоалтайск». Печатался в журналах «Алтай», «Бийский Вестник», «Огни Кузбасса» и др. Автор трех книг. Живет в Барнауле.



## БАБОЧКА

В театре музыкальной комедии давали «Сильву». Когда занавес уже взмыл и зал наполнился музыкой, по ряду, где сидел Валерий Петрович Кошатников, прокатилось тихое возмущение. На свое место пробиралась опоздавшая женщина. Обдав Валерия Петровича легким ароматом тонких духов, она села рядом с ним.

Валерий Петрович не был заядлым театралом. Он больше любил рыбалку где-нибудь на тихой речке. Но раз в году, в один и тот же день, обязательно посещал театр, если только непреодолимое обстоятельство, чаще всего связанное с работой, не нарушало его планы.

На «Сильву» Валерия Петровича однажды привела жена. Поэтому теперь его не очень интересовало уже знакомое сценическое действие, но музыку, будившую в нем воспоминания, связанные с женой, он слушал с удовольствием.

Опоздавшая женщина поставила на колени объемистую сумку и стала копаться в ней. Потом, понизив голос до шепота, обратилась к Валерию Петровичу:

— Разрешите, пожалуйста, программку, — она поправила прическу.

Позади нее послышался тихий голос:

— Женщина, вы мешаете.

Та вжалась в кресло.

— Извините...

Валерий Петрович вскоре заметил, что мелодии Кальмана перестали будить в нем воспоминания. Его охватило неясное беспокойство. Он почувствовал, что на него накатывают давно позабытые «волны» от женщины, только что разместившейся рядом. Они, казалось, раскачивали его, как качает море маленькую лодочку. Захотелось незаметно рассмотреть соседку. Не повернув головы, он скосил глаза, но в зрительном зале стоял полумрак. Женщина, поглощенная опереттой, не обращала на него ни малейшего внимания.

Тем временем на сцене уезжает отчаявшаяся Сильва. Следом за ней уходят другие. Ферри задумчиво читает пригласительный билет и напевает: «Красотки, красотки, красотки кабаре...».

Упал занавес и в зале зажегся свет. Заметив, что соседка поднимается, Кошатников встал.

— Разрешите пройти, — обратилась она к нему.

— Я тоже выхожу, — ответил он и постарался улыбнуться.

Продвигаясь между сиденьями, Валерий Петрович досадовал, что идет не позади нее. Выйдя в фойе, он посторонился, пропуская женщину вперед. Она остановилась недалеко от входа в зрительный зал, повесила сумку хобо широкой лямкой на плечо и равнодушно разглядывала беспорядочное людское мелькание. Как всякий нормальный мужчина, Валерий Петрович оглядел ее украдкой, снизу вверх. Женщина, по его понятиям, была хороша. Прежде всего, он отметил стройные ноги в черных туфельках на невысоком каблучке. Темно-коричневая юбка подчеркивала роскошные бедра. Но самое удивительное было в ней — обилие бабочек. Светло-бежевая блузка пестрела крупными бабочками. На шее чернела тесьма, искусно завязанная бабочкой.

Кошатникова подмывало подойти к ней. Поколебавшись, он шагнул, почувствовав, как его обдало жаром.

— Извините, мы с вами соседи...

- Да, я это заметила.
- У меня к вам деловое предложение.
- Деловое? Интересно.
- Не выпить ли нам шампанского?
- О-о! Но мы не знакомы.

— Это не трудно исправить. Меня зовут Валерий Петрович Кошатников. Работаю на заводе. Сменный мастер участка че-пэ-у.

- А я Лидия Павловна Черемисина, медицинская сестра.
- Ну, так что, за знакомство по шампанскому?
- Почему бы и нет...

Они поднялись по лестнице на второй этаж. Лидия Павловна остановилась возле свободного столика, Кошатников встал в очередь к стойке буфета. Вскоре он подошел к ней с шампанским и плиткой шоколада.

- А что это такое, ваше чепэу?

— Это станки с числовым программным управлением. Но я бы не хотел говорить о них сегодня. А с вами о станках — вообще никогда.

- О чем же вы хотели бы говорить со мной?
- С вами — только о любви.

Она весело рассмеялась.

- А вы опасный мужчина! С вами надо ухо держать востро.

— Держите, держите. Я говорю, держите бокал. Сегодня день рождения моей жены. Давайте за это выпьем.

Женщина смутилась.

— Как вам не стыдно, — с укором произнесла она, — женатый мужчина, а туда же, «с вами только о любви».

— Бывший женатый, — опустив голову, тихо сказал он, — четыре года, как вдовец.

— Извините, — женщина пристально и заинтересованно посмотрела на него.

— Понимаете, она очень любила театр. Даже традицию завела: в день своего рождения ходить в театр. Теперь я продолжаю традицию. Может быть, ее душа в этот день, как при жизни, посещает спектакли. И располагается где-нибудь рядом со мной.

Она снова, с еще большим вниманием посмотрела на него.

- Какой вы, однако...

— Что вы имеете в виду?

— Глядя на вас, и не подумаешь, что у вас такое тонкое и чувствительное сердце. Выходит, что я сегодня заняла место вашей супруги...

Валерий Петрович немного смутился, но продолжал:

— После спектакля мы обычно сидели дома, при свечах и с шампанским.

— А дети, наверно, уже спали, да?

— У нас с ней только один сын. Мичман, служит на Дальнем Востоке. Жалко, в отпуск приезжает редко. А я о внучке скучаю. Она еще совсем кроха.

После антракта и до конца спектакля Валерий Петрович чувствовал себя немного другим человеком по сравнению с тем, каким он пришел на спектакль. Теперь в огромном зале он был не один. Словно возвратилось время, в котором приходил сюда с женой. Рядом сидела женщина, и необъяснимо казалось, что она близка ему, что они давным-давно знакомы.

Наконец, на сцене князь Волапюк объявляет, что его жена, княгиня, тоже пела когда-то в «Орфеуме». Эдвин и Сильва в итоге примиряются. Звучит радостный квартет «Нам с тобой судьбой самой любовь дана». Занавес падает.

В фойе Валерий Петрович спросил Лидию Павловну, где она живет и, услышав ответ, обрадовано воскликнул:

— Так мы же с вами с одной улицы! Как это мы раньше не встретились?

— Судьба знает, что делает, — отозвалась она. — На чем мы поедem?

— Я на машине, Лидия Павловна.

— Зовите меня просто Лидой.

— Хорошо. Если вам не трудно, зовите меня просто Валерой. Только знаете, Лида, машина у меня не шикарная. Надеюсь, это вас не шокирует.

— Но она хотя бы заводится?

— Обижаете.

Парковка оказалась плотно забитой машинами. Лавируя между авто, Валерий и Лида едва отыскали темно-зеленые «Жигули». На дорогах было мало машин, и казалось, пространство улиц раздвинулось.

Лидия Павловна достала из сумки телефон, включила его, и он тут же ожил ритмичной мелодией.

— Да, Лена. Я в машине, еду по городу. Скоро буду дома. Была в мюзкомедии, поэтому телефон отключила. Ой, вот приеду и все расскажу. Пока. — И обратившись к Валерию Петровичу: — Дочь беспокоится, спрашивает, где ты, мама, пропадаешь?

— У вас есть дочь?

— Да. Вы удивлены?

— Не то чтобы... Просто, вы обо мне знаете все, а я о вас — ничего.

— Так уж и все. Знаю только, что вы вдовец, что есть сын, внучка и какие-то чепэу.

— Этого достаточно, чтобы понять, с кем имеешь дело.

— По нынешним временам — очень мало.

— Чтобы узнать больше, надо продолжить знакомство.

— Еще не знаю...

Валерий Петрович резко сбавил скорость и повернул направо к ближайшей панельной девятиэтажке. Остановил машину.

— Куда вы меня привезли? — спросила Лидия Павловна.

— Мой дом. Может, зайдём и откупорим ещё шампанское?

— Ну вот, я говорила, что вы опасный человек.

— Бойтесь?

— Что мне бояться. Я понимаю: вам хочется, чтобы все было сегодня, как было когда-то в день рождения жены. Ведь так? Но я не могу заменить ее. Я совсем другая. А потом, не будет ли оскорбительно для ее памяти? Насколько я поняла, вы верите в существование души. Вот и представьте, как она будет сидеть между нами. Сегодня не тот день. Лучше отвезите меня домой. Это через два квартала, в частном секторе.

— Хорошо, — согласился Кошатников. — Извините, но у меня вопрос: если у вас есть дочь, значит, есть муж?

— Мужа нет, — ответила Лидия Павловна и приоткрыла дверцу. — Он умер примерно тогда же, когда и ваша жена.

— Как я понимаю, он был, скорее всего, исходя из вашего возраста, моложе меня. Что случилось? Авария?

— Мой Слава работал на тельвешке. Онкология. Следствие электромагнитного загрязнения...

— Не продолжайте. Извините меня.

В этот момент телефон Лидии Павловны снова ожил.

— Слушаю, — ответила она. А потом радостно: — Вика! Как я рада! Ты где? Дома? Значит приехали. Да что ты говоришь! Спасибо тебе. Сгораю от нетерпения увидеть ее. Хорошо, хорошо, завтра я к вам приду.

Не выпуская телефона, она обернулась к Валерию Петровичу.

— Подруга моя, вместе работаем, сегодня с мужем вернулась из Тайланда. Говорит, что привезла мне в подарок какую-то сказочно красивую бабочку. Завтра после смены — я у нее.

Многоэтажные дома закончились и улицу продолжили разномастные строения, в основном одноэтажные. Замелькали глухие каменные, решетчатые металлические ограды, штaketники.

— Остановите вот здесь, возле этого дома, — попросила Лидия Павловна. — Спасибо за все. Пока-пока.

— Пойдите, Лида. Может, оставите номер телефона?

— Что ж, раз уж познакомились, пишите.

На следующий день Лидия Павловна сразу же после работы поехала к Виктории. Та скучала в одиночестве, ожидая мужа. Подруги обнялись и поцеловались. Восторженным рассказам Вики о поездке в Тайланд, казалось, не будет конца. И Лидия Павловна не выдержала. Она на полуслове нетерпеливо оборвала подругу.

— Хватит уже. Где бабочка? Когда я ее увижу?

— Ой, прости, Лидусь. Сейчас.

Вика упорхнула в другую комнату и через минуту возвратилась, бережно держа обеими руками рамочку. В центре обрамленного поля, распластав неправдоподобно красивые широкие крылья, сидела бабочка. Она выглядела живой, словно только что опустилась на облюбованную поляну.

Радости Лидии Павловны не было предела. Держа рамку и так и этак, то отдаляя ее, то приближая к себе, она осыпала подругу восторженными междометиями.

— Ты знаешь, — продолжала свое прерванное повествование Вика, — мы с Олегом ходили в Сад бабочек. Какая прелесть! Их там миллионы, наверное. Они порхают вокруг тебя и даже садятся на голову, на плечи, на руки. Вот тебя бы туда. Ты бы с ума сошла.

Лидия Павловна слегка махнула кистью, выражая безнадежность.

— Куда мне... А ты не скажешь, как называется это чудо?

— Ой! Кажется, ее называли Красный Мормон.

— Какая прелесть! Какая прелесть — Красный Мормон!

— А мне не по душе такое название, — возразила Вика.

— Почему?

— Не могу объяснить. Понимаешь, какой-то Мормон, фу.

— Да ладно. Принеси лучше линейку.

Оставшись одна, Лида с восхищением смотрела на бабочку. На бархатном черном фоне нижних крыльев контрастно выделялись красные пятна. А среди них, как фонарик среди ночи, светилось белое пятнышко. Лида подумала, что оно здесь неуместно, вид портит. Она поделилась своим сомнением с возвратившейся Викторией.

— Ничего ты не понимаешь, — сказала Вика. — Как нам объяснили, у коллекционеров больше ценятся экземпляры с белым пятном. Так что ты обладательница редкости. Успокойся. Вот тебе линейка.

— О! — воскликнула Лида, приложив линейку к рамке. — Четырнадцать сантиметров в размахе!

Хозяйка разлила чай по чашкам. И спросила подругу:

— Ну, а ты тут как? Что у тебя нового?

— Ой, Вика. Вчера была в музкомедии. Познакомилась там с мужиком.

— Да ты что! А как же твой Андрюша?

— А, забудь. Я уже забыла.

— И что за мужичок?

— Еще не поняла.

— Ну, хотя бы как он выглядит?

— Ничего особенного. Лет под пятьдесят. Лицом на артиста Хазанова похож. Джинсы, черная майка — белые полосы поперек. Вежливый. Шампанским угостил. Домой на своей таратайке привез. Телефон мой записал.

— Кто он вообще?

— Говорит, на заводе работает. Мастером участка. Не бизнесмен.

— Ну и что. Лишь бы человек был хороший.

— На первый взгляд, вроде положительный. На алкаша не похож.

— А на чем ездит?

— На «жигуленке». Да еще зеленого цвета. Кошмар.

— Не бери в голову. Есть мужики с задвигами, им нравится на утюгах ездить.

Женщины дружно рассмеялись.

— А вообще, я тебе вот что скажу, — продолжала Вика, — наш завод делает что-то для армии. Значит, там хорошо зарабатывают. Имей в виду.

Накануне выходного дня, вечером, Валерий Петрович позвонил Лидии Павловне и предложил отдохнуть на природе.

— Надеюсь, вы свободны в этот день? — спросил он.

— Дежурства нет, но у меня большие сомнения.

— В чем или в ком? — снова спросил он. — Не во мне ли?

— Нет. Я представляю, как много на пляже народу, везде мусор, пластиковые бутылки, а из всех машин громкая музыка, не пойми что.

— Лидия Павловна, я знаю такие места, где красота кругом и ни одной души. И песочек чистый. Ну, как?

— Если так, согласна.

Валерий Петрович знал такие потаенные места, где удил пещерей и карасей. К этому он привык с детства, прошедшего на маленьком железнодорожном полустанке в семье путевого обходчика. Поселочек в несколько домиков стоял на краю леса, по берегам небольшой речки — цветущее разнотравье.

Из города выбрались рано. Сначала ехали по шоссе, потом по проселочной грунтовой дороге, петляющей меж зарослей тальника, кустов облепихи. Несмотря на утреннюю пору, солнце уже припекало. Наконец, Валерий Петрович свернул с заросшей травой дороги в сторону реки и через минуту выехал на берег. Под раскидистыми ветлами лежала глубокая тень, росла мягкая, с глянцевым отливом, травка. Лидия Павловна вышла из машины, и с удовольствием прислонилась к прохладному стволу дерева.

В этом месте река плавно поворачивала, замедляя в излучине свой бег. Желтый песок на берегу источал сухое тепло. Вокруг,



насколько хватает глаз, не было ни тропинки, ни черных плешин от рыбацких костров. Место оказалось действительно девственным, как обещал Валерий Петрович. Даже его машина, слившись с чистой зеленью пространства, сделалась почти незаметной. Валерий Петрович вынул из багажника большую сумку, извлек из нее покрывало и расстелил его в тени.

— Для начала искупнемся? — предложил он и стал раздеваться.

— Давайте перейдем на «ты».

— Принято.

— А здесь очень глубоко? — с опаской спросила Лидия Павловна.

— Плавать не умеешь?

— Не намного лучше утюга.

— Не бойся, спасу.

Валерий Петрович вошел в воду по пояс, показывая ей глубину. Лида следовала за ним осторожно, но все же поскользнулась и стала заваливаться на спину. Валерий Петрович протянул ей руки. Но она легонько отстранилась и засмеялась:

— Какая я неловкая...

Он стал бросать пригоршнями воду. Взвизгнув от неожиданности, Лида ответила ему тем же.

— Чего стоишь, поплыли! — весело крикнул Кошатников.

Она осторожно легла на спину, медленно погружаясь в теплую воду.

Потом они пили горячий кофе из термоса, закусывали сыром. Вершины ветел о чем-то тихонько шептали. В траве гудели лохматые полосатые шмели, трещали кузнечики.

Солнечные пятнышки, пробиваясь сквозь густую листву, играли в догоняшки на груди и плечах женщины. Кошатников с трудом мог отвести взгляд.

Вдруг между ними промелькнула оранжевая бабочка. Она опустилась на коробку конфет и, почти не задерживаясь, порхнула на синюю крышку термоса.

— О, у нас гость! — воскликнул Валерий Петрович.

Лидия Павловна ничего не сказала. Стараясь не делать резких движений, она взяла полотенце и попыталась накрыть им бабочку. Но та оказалась шустрее. Однако далеко не полетела. Словно играя

с человеком, бабочка опустилась на ромашку. Лидия Павловна медленно поднялась и направилась к ней. Но та снова вспорхнула и, мелькая яркими крылышками, перелетела на золотистый цветок одуванчика. И тут бабочку накрыло полотенце. Встав на колени, Лидия Павловна осторожно отвернула его край. Кошатников, не отводя взгляда, любовался женщиной. Лидия Павловна поднялась, держа двумя пухленькими пальцами свою добычу.

— Посмотри, какая красавица, — сказала она, садясь рядом с Валерием Петровичем. Теперь он мог рассмотреть бабочку ближе. Крылья ее были похожи на тлеющие угольки, обрамленные темно-коричневыми полями. На нижних крылышках разбросаны черные точки. А на кончиках усиков светились оранжевые фонарики.

— Красивая, — согласился Валерий Петрович, — отпусти ее, пусть летит по своим делам.

— Нет уж. Она моя. Навсегда моя.

Продолжая удерживать бабочку, Лидия Павловна вынула из сумочки косметичку и заключила в нее свой трофей. Потом поднялась и, зайдя в воду, вымыла руки и ноги. Когда возвратилась, Валерий Петрович спросил:

— Ты читала Рея Брэдбери?

— Кто такой?

— Американский писатель-фантаст.

— Я не люблю фантастику. А почему ты спросил?

— Глядя, как ты охотишься, я вспомнил его рассказ под названием «И грянул гром».

— А при чем тут гром?

— Долго рассказывать. Гром, как таковой, тут действительно ни при чем. Суть рассказа в том, что если ты убила бабочку, значит, ты убила ее потомков и потомков от потомков. И так далее, и так далее. Если ты убьешь эту бабочку, ты убьешь миллиард бабочек. Понятно?

— Ну и что?

— Жалко, я не Брэдбери, не могу толком объяснить. Понимаешь, в природе существует равновесие, а мы его иногда нарушаем своими необдуманными действиями. Конец может обернуться для нас трагедией. Это как костяшки домино: если их составить

в ряд и потом толкнуть первую, то вскоре этот толчок докатится до последней, и она упадет.

— Господи, какие-то костяшки, домино. Ничего не понимаю. А ты знаешь, сколько бабочек склеивают птицы, сколько их гибнет от морозов и лесных пожаров и никакие костяшки до сих пор не упали.

— Но ты согласна, что от этой твоей бабочки потомства не будет?

— Согласна. А ты согласен, что кроме нее существуют тысячи таких же бабочек, которые дадут потомство?

— А вдруг это была последняя бабочка.

— Не чуди, Валера. Вроде не пил, а несешь что попало.

Когда они возвращались в город, Лидия Павловна спросила:

— Ты не хотел бы ездить на иномарке?

— Нет, — ответил он, не повернув головы.

— Что, не по карману?

— Ну, почему же...

— Вот именно, почему?

— А зачем? Чтобы показать, какой я крутой? Достоинство человека не в том, на какой тачке он ездит. Какой костюм носит. Я не считаю автомобиль средством самоутверждения.

— Ты, оказывается, чужак больше, чем по первому впечатлению. Я считаю, что одежда многое может сказать о человеке. А марка машины говорит о том, насколько человек успешный в жизни.

Прощаясь с Кошатниковым, Лидия Павловна сказала:

— В среду вечером прошу ко мне. Придет моя подруга Вика с мужем, я вас познакомлю. Ну, как?

— Приду, — пообещал Валерий Петрович.

Перед сном он думал о том, что она, пожалуй, хочет устроить смотрины. Чтобы узнать мнение о нем своих лучших друзей. «Что ж, — решил он, — я тоже присмотрюсь. Ведь друзей мы выбираем по себе». С этой мыслью он заснул.

Лидия Павловна, едва покинув ванну, нетерпеливо взяла телефон.

— Привет, подруга!

— Лидуся! Наконец-то. Ты где пропадала? Я несколько раз тебе звонила и все ты недоступна.

— Ты знаешь, я со своим чепеу ездила на природу. Наверно, была вне зоны.

— Да ты что! На пляж, поди?

— Нет. Он возил меня далеко, куда-то вниз по реке. Там совершенно сказочное место. Чисто, птички поют, бабочки летают. Я одну поймала. Придешь — покажу.

— И что, у тебя с ним что-то было?

— Ничего не было. Знаешь, он какой-то странный. Начал что-то городить, будто убив одну бабочку, я убила их миллион, что наша одежда это всего лишь скафандр. Короче, я в сомнении. Но на среду его к себе пригласила. Наш уговор остается в силе. Хочу, чтобы вы оценили этого чудака.

В среду вечером, после работы, Валерий Петрович, не заходя домой, приехал к Лидии Павловне. Подойдя к воротам, услышал злобный лай собаки и звон цепи. Ворота открыла хозяйка.

— Здравствуй! Проходи. Вика с мужем еще не приехали. Пождем немного, — говорила она, провожая гостя до дверей.

Валерий Петрович снял у порога туфли и остановился в нерешительности.

— Проходи, проходи, — взяла его за локоть хозяйка, — вот сюда. Выбирай: диван или кресло?

Он молча опустился в кресло. Осмотрелся. Вся стена напротив была увешана множеством застекленных рамок с маленькими и большими, пестрыми и невзрачными бабочками.

— Ты посиди, а я займусь столом, — попросила его Лидия Павловна. — А, в общем, чтобы не скучать, можешь пройти в другие комнаты и познакомиться с моими бабочками.

Она посмотрела на него с легкой усмешкой, явно желая тем самым напомнить ему разговор у реки. Кошатников поднялся и приблизился к стене. Вблизи бабочки казались еще живее. Протяни руку, и они испуганно вспорхнут. Он даже поднял ладонь и помахал ею. Но бабочки не пошевелились. Потом прошел в другую комнату. Она оказалась спальней. На полупрозрачной портьере был выткан цветущий луг и множество разноцветных бабочек. На стенах, кроме той, где чернел дверной проем, висели разного размера рамки с бабочками.

С улицы послышался приглушенный собачий лай. Валерий Петрович поспешил покинуть спальню, но второпях шагнул не в ту дверь, через которую вошел, и оказался в зале. Посередине стоял накрытый стол. Из коридора доносились веселые женские голоса и смех.

И здесь, в зале, все стены были украшены рамками с бабочками. Валерию Петровичу стало не по себе. Его охватила легкая оторопь.

— Проходите, гости дорогие, — пропела хозяйка, пропускающая вперед женщину в светлом брючном костюме и мужчину в светлых джинсах и кремовой майке с надписью на английском. За ними вошла Лидия Павловна в кремовом холщевом фартуке с аппликацией в виде красной бабочки.

— Валера, чего ты там стоишь? Знакомься: мои друзья — Вика и Олег.

Во все время застолья Кошатников чувствовал себя неловко. Между хозяйкой и ее друзьями велись разговоры, в которых он стоял в стороне, как на обочине оживленной трассы. Говорили больше супруги. Сначала делились впечатлениями о Тайланде. Потом переключились на воспоминания о поездке в Испанию, где они отдыхали в прошлом году. Валерий Петрович нигде за границей не бывал, потому что ему никогда не хотелось смотреть чужие страны и чужую жизнь. Он молча слушал. Люди эти были ему совершенно чужие, и он не чувствовал в себе желания как-то вступить с ними в беседу, сблизиться и продолжить знакомство. Ему казалось, что и они по отношению к нему чувствуют то же самое. Когда Кошатников поднимал глаза от стола, в его поле зрения сразу же попадали многочисленные рамки с мертвыми бабочками. Черные рамки, как булыжники, давили на него, и ему чудился запах тления. Пришла странная и одновременно мрачная мысль. Он спросил себя: разве обязательно надо убивать жизнь в прекрасном, чтобы сохранить его? И ответил: да, наверное, для науки. А для себя — есть же память... Она — лучшее хранилище красоты.

Кошатников встал из-за стола первым, сославшись на то, что ему необходимо к завтрашнему дню составить график работы смены. Он солгал, но ему не терпелось уйти. Во время прощания Вика сказала:

— Валерий Петрович, теперь, я думаю, мы должны встретиться у вас. Как вы на это смотрите?

Вопрос застал Кошатникова врасплох, но он согласился бы в этот момент на что угодно, только бы уйти поскорее.

— Хорошо, — сказал, глядя в сторону, — в субботу вечером я вас жду.

Он потом ругал себя за то, что согласился. Но делать было нечего, и в субботу с утра Кошатников принялся готовить угощение. Вечером накрыл стол и сел к телевизору, включив спортивную программу. Так он просидел весь вечер один. Никто даже не позвонил. Он поймал себя на том, что не чувствует в себе ни малейшей досады. Не было звонка и на следующий день. И еще потом, много дней спустя. В сложившейся ситуации он не позвонил, считая, что это было бы для него унижением. Валерий Петрович ни о чем не сожалел, напротив, тихо радовался, что все так просто разрешилось.

Минуло два месяца. Кошатников почти забыл Лидию Павловну и ее друзей.

Как-то вечером он возвращался с работы на автобусе. Большинство пассажиров, в основном молодых, уставились в смартфоны. Рядом с Валерием Петровичем, у окна, сидела женщина. Неожиданно, на стекле он заметил бабочку, на бурых крыльях темные глазки, окруженные бледными ободками. Она часто-часто махала крылышками. Видимо, ее затянуло потоком воздуха. Бабочка, трепеща, скользила по стеклу и все никак не могла добраться до открытой форточки.

Соседка Валерия Петровича, слегка привстав с сиденья, осторожно поймала бабочку и, поднеся к форточке, выпустила на свободу. Бабочка мгновенно исчезла.

Кошатников хотел сказать женщине что-то приятное. Пока он раздумывал, объявили его остановку. Продвигаясь к выходу, он заметил, что соседка идет следом. Сойдя с подножки, он обернулся и неожиданно для себя подал ей руку. Женщина оперлась на нее кончиками пальцев. Спустившись, она спросила:

— Вы всем женщинам руку подаете?

— Нет, — ответил Валерий Петрович смущенно, — только тем, которые освобождают бабочек.

В ответ она улыбнулась и направилась туда, куда нужно было и ему.

— Вы хотите меня проводить? — снова спросила женщина.

— Извините, — сказал Валерий Петрович, решительно шагая рядом.

Прошло несколько месяцев. Валерий Петрович позвонил сыну и сообщил, что он женился и что с нетерпением ждет его в гости.



## Людмила Шишенина

Родилась в селе Гришенском Алтайского края. Окончила Алтайский государственный институт культуры. Работала в учреждениях культуры. Печаталась в районных периодических изданиях и коллективных сборниках. Награждена медалью Алтайского края «За заслуги перед обществом».

### Из детства моего

Мне снится далёкий посёлок  
У кромки смолистого бора,  
Листвой шелестящий околок  
И лавочка возле забора.  
Закат в золочёной накидке,  
Вечерняя нега — прохлада.  
И мама с ведром у калитки  
Встречает усталое стадо.  
Уже дымокур растопила —  
Опять мошкара налетела!  
Привычно и неторопливо  
Весёлая струйка запела...  
Июльской порой медоносов  
Валки разнотравья сгребали.  
Шурша по колючим прокосам,  
Пугливо полёвки шныряли.  
Вилась возле ног повилика,  
В царапинах мелких колени...



И не было слаще клубники,  
Подвяленной солнцем на сене...  
...Кусочек далёкого детства  
С глубокими синь-небесами...  
Так хочется вновь отогреться  
В посёлке, укрытом лесами.

\*\*\*

Заспорили два старика:  
Дед Миша и дед Никита.  
Уха на столе с окунька,  
На кухне окно открыто.  
— Я — первый, — сказал Михаил  
И потянулся за хлебом,  
— Я первый умру, уловил?  
Уйду, и как будто не был...  
— Да ну-у! Хотя я младше тебя,  
Да только любому видно,  
Что очередь, Мишка, моя.  
Я — первый, хоть и обидно!..  
— Э-э нет! Ты мужик боровой,  
Здоровый, дружишь с природой.  
Ну, мне ли тягаться с тобой,  
Я, слышь-ка, другой породы!  
Тихонько сновала жена  
Мишкина, Антонида.  
Не первый раз слышит она,  
Какая у них планида!!  
Бранилась, порою гнала!  
Тайком уходили в баню.  
Туда же (какого рожна!)  
Задами спешил кум Ваня...  
А нынче неспешно сама  
Поставила хлеб, капусту,  
Вина и ухи налила.  
Ну, вот — на столе не пусто!

Сегодня особенный день —  
Сорокалетье Победы.  
Исчезла войны злая тень,  
Оставив нужду и беды...  
Девчонкою вышла она  
За Михаила, он старше.  
Детей пятерых родила,  
А жизнь продолжалась дальше.  
Муж технику знал и любил,  
«Кулибиным» слыл в народе.  
Он всё за «спасибо» чинил.  
И сам был доволен, вроде...  
Из кухни послышалось вдруг:  
— Слышь, мать, на столе нет соли!  
— Да тут она где-то, тут!..  
Лукерью позвали б, что ли...  
Блеснули глаза стариков,  
Однако выходит складно!  
Никита и сбегать готов:  
— Схожу я за Лунькой, ладно!  
Дед Мишка вдогонку кольнул:  
— А ты ведь её не любишь!  
— Ого-о!!! – тот в ответ резанул. —  
Такую разве забудешь!  
И было в коротком «ого»  
Столько тепла, обожанья,  
Раскаяния и того,  
Что где-то за понимаем...  
Ну, что там скрывать, да, грешил!  
Мужик-то он был нехилый!  
Охоту, рыбалку любил,  
Друзей, но домой манило...  
Наследников пять — сыновей,  
Шестая Аринка-дочка,  
Жена — не отыщешь верней:  
Всегда ждёт: и днём, и ночью.

И тяжкая ноша вины,  
Как старость, на плечи давит.  
Как будто вернулся с войны,  
А рана не заживает...  
Похожи все судьбы людей,  
Военного поколения.  
Лишь в памяти взрослых детей  
Хранятся эти мгновенья...  
... А прав был тогда Михаил:  
Короче его дорога.  
Никита его хоронил,  
Хоть после прожил немного...

\*\*\*

Зима... Туман. Наохлились деревья,  
Капризничает утро: всё не так.  
И ночь не задалась, примете верю:  
Не спится — значит, утром жди куржак.

Засуетились птицы не на шутку,  
Рассыпав с веток иней, как крупу.  
И кот, сердясь, отряхивает шубку,  
Ища в снегу вчерашнюю тропу.

Туман редет. Жмурясь, солнце встало.  
В ажурной бахrome стоят леса.  
Уходит полуночная усталость...  
А впрочем, день неплохо начался.



## Лилия Войнова

Родилась в Казани. Окончила экономический факультет Алтайского государственного университета. Работает закройщиком. Путешествует по Горному Алтаю. Автор-исполнитель стихов и песен. Живет в Бийске.

## Март

Весны прозрачные намёки  
Зовут любителей прогулок,  
И чёрно-белые сороки  
Хвостами крестят переулоч.  
Худой линияющей собакой  
Зима сползает в подворотню,  
А воробьи весёлой дракой  
День отмечают поворотный!  
А я иду, от солнца щурясь,  
Гоню остатки зимней лени.  
Капелью звонкой полощу я  
Бельё своих стихотворений.  
Пускай стекают боль и слёзы,  
Тоски унылые разводы!  
Кружатся строчки, как берёзы,  
В шальном весеннем хороводе...

## Пунктир

Уходит вдаль пунктиром белым  
Раздел дорожной полосы.  
Уходит день, пунктиром стрелок  
Стирая медленно часы.  
Проходит жизнь, пунктиром строчек  
Ведя историю любви.  
И остаётся только прочерк  
Меж датой рожденья и...

## Паяц

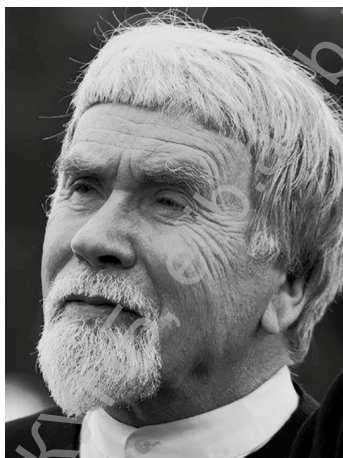
Досмеюсь до конца несмешного спектакля  
Под названием «Жизнь» и улыбку сомну,  
Как программку. И выплачу сразу до капли  
Все слезинки, что долго держала в плену.  
Как Коровьев-Фагот, осуждённый смеяться  
За неловкую шутку — на целую жизнь,  
Так и я: кувыркаюсь в костюме паяца  
На потеху толпе. А поди, откажись!  
Неискупленный грех под малиновым фраком —  
Словно чёрный подклад. А волос серебро  
Рыжей паклей завешано. Смейтесь, зеваки!  
Острословья укол прививает добро!  
Но стареет и шут. Истирается пакля  
В рыжине парика, приглушается смех...  
Слишком долгая жизнь. Слишком длинный  
спектакль —  
Без антрактов, буфета и права на смерть.

### **В заповеднике лета**

Я люблю жить на даче,  
В заповеднике лета.  
Там сорока судачит,  
Держит хвост пистолетом.  
Крутят кудри саранки,  
Скромно смотрят ромашки.  
На зелёной полянке  
Клён ладошками машет.  
Томно стонут лягушки  
Возле старенькой бочки,  
А гадалка-кукушка  
Всем бессмертье пророчит.  
Недотрога-ежика  
Копошится в малине.  
Греют ящерики тихо  
Изумрудные спины.  
Запах мяты и хмеля  
Наплывает волнами,  
Словно варится зелье  
В покосившейся бане.  
И такую истомой  
Вся округа согрета...  
Я люблю жить на даче,  
В заповеднике лета.

## Валентин Курбатов

Родился в 1939 году в поселке Старый Салаван Ульяновской области. Окончил факультет киноведения ВГИКа. Критик, литературовед, автор нескольких книг. Постоянный автор многих литературных журналов России. Член Союза писателей России и Президентского Совета по культуре. Живет в Пскове.



## ВОЗВРАЩЕНИЕ

### Последняя книга Виктора Петровича Астафьева. К 95-летию юбилею писателя

**Н**е было, кажется, в последние годы ушедшего века художника более беспокойного для читательского сознания, чем Виктор Петрович Астафьев. Похвалы ему были вызывающи, укоры слишком запальчивы. И те и другие одинаково неуверенны, словно обе стороны промахивались — и обнимали не того, и не на того гневались. Да, так оно и было, потому что спорили друг с другом одинаково злые, из одного корня проросшие идеи, не хотевшие знать своего родства или торопившиеся скрыть его. Наша демократия, по справедливому слову философа К. Свасьяна, бывшая только злой шуткой компартии, «последним постановлением Политбюро», надеялась обольстить художника пропиской по своим рядам, а сами коммунисты, не узнающие себя в кривом зеркале дурного своего порождения, — обвинить в потакании демократии и искажении великой войны.

Ну, а уж известно, когда схватятся идеи, до человека дела нет. И кто послабее, может, на месте писателя расточился бы в пустом гневе или замкнулся в одиночестве. Но Виктор Петрович не зря всегда твердил, что дело художника — работать как умеет, держать себя работой, а уж судьи всегда найдутся. А что он не только говорил об этом, а действительно до последнего часа работал, особенно доказывали его «Жестокие романсы» — последняя книга, написанная именно в самые последние, жесткие, а порой и жестокие к нему годы.

И самое прекрасное в ней, что книга не хотела быть последней, не декларировала гордых задач, не норовила стать выше себя в обобщениях, не подводила итогов.

Ее герои опять казались знакомы душе, потому что мы долго жили в астафьевском мире и знали, что если кого нового и нанесет на нас, то он не издалека приедет и не из новой среды, а только первый раз нам «на улице» попадетсЯ, но будет из того же известного нам «простого народа», который «прост» в имени да неисчерпаем в судьбе.

И уж судеб-то мы там нагляделись. История наша позаботилась, чтобы человек «не расслаблялся» и не ронял себя перед русской литературой, годился бы ей в герои. Мало нас ждало веселого.

Колька-дзык (как раз из рассказа «Жестокие романсы») повоюет, похитрит на войне, покрутится на ней, покажет барачный, изворотливый и вроде ко всему приспособленный характер, а придет час — вызовет огонь на себя без всякого ненавистного Астафьеву «героизму», останется без ног и такую развернет послевоенную злую, наводящую смятение жизнь, что мужикам в его слободе только и останется напоить его, привязать к инвалидной его тележке да и с Богом утопить.

Рассказ начат в 60-е годы и, поди, тогда так бы вызванным на себя огнем и кончился, чем и тут военная часть отчетливо кончается. Но много с 60-х годов пожил и повидал Астафьев и выучился не прятать тяжелую правду и вот, переломив рассказ пополам, написал и страшный конец героической Колькиной судьбы, соединив обе части святой Колькиной любовью к романсам. Тут уж писатель всю свою нежную душу расточает, свои слезы не прячет перед каждой прекрасной мелодией. Ницше ког-



да-то с необыкновенной, совершенно русской глубиной сказал: «Все, что отняла у нас жизнь, возвращает нам музыка». Может, Виктор Петрович этой фразы и не знал, но правду ее сердцем чувствовал больше и вернее других. Умел он в старые времена восхитить читательское сердце «переводом» музыки в слово, начиная с незабываемого Штрауса, над которым плачет мальчик в детдомовской «Краже», и кончая великими очерками о Нестеренко и Образцовой. Умел и тут: «О, как она пела! Зажав струны костлявыми, длинными пальцами, эта уличная, по причине войны осиротевшая девка на глазах преображалась. Откуда-то выявлялась в ней пугающая народ грация. Напрягая горло и жилы на изогнутой длинной шее, пышноволосяя девка, небрежно откинув голову вбок, сощурилась, как бы надменно и величаво извлекала из нутра глубоко заглоченный звук, пропуская его через дыхательные пути, ценители сказали бы — через сердце, выдавала его бархатно обложенным, мягким, согретым, вкрадчивым таинством, не ведомым и самой певице... Не дай Бог шевельнуться, забазарить в это время, кулаком, костылем, что под руку попадет, тем и огреет Колька-дзык».

И жалко в эту минуту писателю и девку, и непутевого своего героя, и он их, как умеет, бережным своим словом и защищает. Слава Богу, это слово у него всегда было. И это он за них — за Кольку, за мальчика-солдата, бессильно плачущего от усталости и труда войны над нечаянной мелодией в телефонной трубке («Мелодия Чайковского»), за майора Проскуракова из рассказа «Трофейная пушка», за всех, любимых нами еще по прежним его военным книгам, любовь свою и выговаривает: «И жалости, той обычной жалости со словами и слезами, тоже у майора не было. Майору Проскуракову просто хотелось, чтобы жили люди, дошли бы вот до этого местечка, полежали бы на ломкой стерне, помечтали о еде и победе. Но ничего этого им уже не доведется пережить, хотя и живы они еще в воспоминаниях майора. Ему помнить друзей своих, болеть за них неутихающей болью. Еще утверждают где-то наградные листы на них, где-то они еще числятся на довольствии, где-то жена или мать в последних мыслях перед сном думает о них и желает им спокойной ночи. Так будет еще какое-то время, потом все остановится для мертвых, даже память

о них постепенно закатится за край жизни. Если их и будут вспоминать, то уже не по отдельности, как Ваньку, Ваську, Петьку — обыкновенных солдат, копавших землю, жаривших в бочках вшей, материвших Гитлера и старшин, норотивших посылнее пожрать и побольше поспать. Их будут числить и вспоминать сообща, как участников, может, и как героев войны. А они таковыми себя никогда не считали, и никто их при жизни таковыми не считал. И оттого сотрется лицо Ваньки, Васьки, Петьки, будет навязчиво проступать какой-то неуклюжий монумент в памяти, каменный, в каске, чужой совсем людям, безразличный».

И много их еще будет — тяжело после Победы доживающих солдат в рассказах и затеях «Связистка», «Салют», «Многообразие войны» и особенно в невыносимо горьком рассказе «Пролетный гусь», где умрет у молодых, едва вернувшихся с войны терпеливых героев сын, потом умрет от неподъемной работы и чахотки и сам молодой солдат и отчаявшаяся вдова бросит в могилу, как в лицо смерти и злу мира, его награды, и из духа все доживаемой военной чести даже и в церковь за утешением не пойдет: «Это что же, опять спекуляция, снова приспособленчество, желание прожить с чужой помощью. Нет, это уж пусть Мукомолы (сгоняющие в рассказе молодых солдат со свету, сытые, сразу пристраиваемые к месту, в отличие от бедующих героев, партийцы. — В. К.) и все прочие, на них похожие, живут, она уж раз отрезанная, жизнью рыбешка затертая, будто льдом в ледоход, как-нибудь сама со своими невеликими делами справится».

А из «невеликих-то дел» — только повеситься «по-людски», чтобы никого больше не обременять. И не знаешь, кого винить и как самому жить в мире, когда дочитываешь рассказ до мертво-спокойного его финала: «И добро. И ладно. Вместе дружно и не тесно, может, и теплее будет на другом свете, приветливее, чем на этом, давно проклятом и всеми ветрами продутом».

Старая это астафьевская тема. И так она во всю жизнь и не выболела в нем. Он уж и на генералов и маршалов кидался, и Жукову от него за эти военные и послевоенные жертвы попадало. Но в затеси «Без покаяния» уже и их жалел — маршала авиации Новикова, маршала артиллерии Борисова, адмирала Кузнецова и того же Жукова, но и жалея, не удерживался от главного, всю

жизнь мучающего его рассуждения: «размышляя над судьбами больших, главных людей войны, я думаю, что пали рано и кару незаслуженную приняли наши славные маршалы — победители и полководцы оттого, что не попросили прощения у мертвых, не повинились перед Богом, перед обездоленными женщинами, перед страдания неслыханные перенесшим народом своим... Есть такие тяжелые людские грехи, которые Господь и хотел бы, но не в силах простить».

Наивная это, конечно, фраза про Бога, который не в силах простить. Не встать нам на Господню точку зрения, но как она человечески прекрасна и понятна. И как это по-русски и в самой сердцевине по-христиански.

Конечно, порой уставало сердце и хотелось вместе с любимым им Гоголем спросить: что же все о мрачном, да о мрачном, не пора ли о «совершенном человеке», о «несметных богатствах русского духа»? Часто тоскует по красоте русский человек и ищет прекрасного героя, и обещает его читателю, как тот же Гоголь или Достоевский. Но тут, верно, прав Н. Н. Страхов: «Ждали долго, подождем и еще. Дело, как видно, нешуточное и немаленькое, коли сразу не дается».

Да ведь кроме того, с другой стороны, не слепые же мы и видели, как и посреди беды по-прежнему был нежен к человеку писатель, особенно к страдающему человеку, и как любовался им, как в прежние годы в «Пастухе и пастушке» любовался, в «Сашке Лебедеве», в «Звездопаде», в любимой им и нами «Оде русскому огороду». И ведь тут, в «Жестоких романах», любитесь он и Колькой-дзыком, и стойкостью молодых героев «Пролетного гуся», и спокойной уверенностью старшего лейтенанта Дроздова из рассказа «Пионер — всем пример», когда тот ровно, покойно и твердо хранит сначала своих солдат на войне, потом собратьев по лагерю, а там и саму захудавшую, но все живую нашу природу и вековечное русское достоинство перед высокомерным хамством нового демократического начальства.

Хорошо знать писателя долго и слушать, как подхватывает его память давние дорогие мысли и рачительно, по-хозяйски устраивает их в дело. Не от скупости, а от верного понимания Господних даров: коли мысль была послана и грела душу, значит, жива была,

да только, видно, «почва» для нее не сразу согрелась, чтобы ей как следует прорасти. А пройдут годы, глядишь, она и окликнет сердце. Так было с замыслом и развитием судьбы Кольки-дзыка, так было с рассказом «Венку судят», чью комическую сторону он уже тридцать лет назад хорошо чувствовал и готов был написать, да понимал, что и серьезный кончик нельзя бросить, добросердечие русское упустить. И вот дождался. И глянул из рассказа шукшинский Пашка Колокольников из повести «Живет такой парень» и та чудно живая нота, которая и сегодня нет-нет и прозвенит нам в непутевых героях «Весны на Заречной улице» или «Калины Красной».

Вот и в «Пионере», в последних страницах рассказа, когда усталый Дроздов едет в гости к старому священнику, которого берет когда-то на лесоповале, чтобы тот мог и там исполнять святые свои требы, я слышу отзвук давнего желания писателя привести одного из своих изувеченных войной и особенно послевоенной бедой героев романа «Прокляты и убиты» в сибирские леса к староверам, чтобы он там прикрепился к коренной русской земле и родной вере и нашел наконец опору и утешение. Сам Астафьев мог этого и не вспомнить, но мне в финале «Пионера» все мерещился тот несбывшийся ход и все хотелось вернуть героев романа и отправить их вместе с Дроздовым, чтобы и им просветила надежда: «Отец Никодим, перекрестив гостей и дозволив поцеловать крест на груди и руку, проводил их за околицу. Когда тронулись, Антон Антонович все заглядывал в лобовое стекло. Человек в древнем одеянии цвета рожалой черной земли бросал им вслед крестики, словно сеял зерна. А зерна, уроненные доброй рукой в родную, слезами и потом орошенную землю, всенепременно дадут всходы. Всенепременно!»

Вот и тем, потрясшим и измучившим наше сердце героям «Проклятых и убитых», хотелось вслед крикнуть про эти всенепременные всходы. И они бы услышали — сердце в них было готовое.

Нет, видно, так я и не пойму укоров, которые делали Астафьеву его сверстники, не вмести их правды, потому что и сейчас не вижу в его беспокойных и чаще плохо кончающих солдатах ни укора, ни поношения, а вижу только, что это неузнанные нами, но все те же старинные Платоны Каратаевы

и капитаны Тушины, да только на другой, увы, куда более беспощадной войне и посреди другой истории. И никуда из его прозы не подевалось старинное наше религиозное чувство правды, которое всегда отличало русских художников от Достоевского и Толстого до Фёдора Абрамова и Константина Воробьёва.

И с какой же это еще молодой силой было написано, как будто впереди еще ждала долгая жизнь! С каким временами юношеским озорством, старинной его любовью к словесной игре, к письму «со слуха», когда следом за бабушкиным укоризненным «коммунис» являлись боевые «канцямольцы» и не менее боевые «дефти», за которыми не сразу увидишь «девок». С какой по-прежнему радостной свободой и настоящей осенней зрелостью! В особенности там, где художник уходил в святой, не знающий человеческих страстей мир родной природы. Он возле нее и в старые годы спасался, даже и в войне не пропускал, советуя раненым братьям «хвататься за травку». И в последние годы, как минута выпадет, бежал на дальние реки и, как встарь, привозил оттуда совершенные чудеса: «Таймень был в юношеской, а может, и в молодой поре, и все на нем цвело, все роскошествовало, пятнистый плавник наборной гармошкой, открытой во все меха, украшал крейсерски стройную спину... Он проплыл близко от моих ног... вроде меня и не заметив, величественный и надменный. Его как бы втягивала в себя подледная живая темень, он погружался в нее, оставляя под собою тень, и когда его не стало, тень еще какие-то мгновения оставалась на виду... Я лег на бок и еще секунду-другую видел рыбину подо льдом. И каким-то таинством пугающе дохнула на меня живая глубь. А потом, чуть опомнившись, сидел я на ящичке, потрясенно повторяя и повторяя:

— Остановись, мгновенье, остановись! Ты прекрасно!»

Сколько раз он восклицал это за жизнь — с детских лет, еще не ведая этой фаустовской тоски, не зная имени ей, но уже предчувствуя спасительную власть красоты, ее целительную силу. С «Последнего поклона», с начальной его «Зорькиной песни», да и раньше, раньше, с детского игарского сочинения о глухом озере, он молил мгновение остановиться? И оно было послушно и теперь глядит с его страниц в вечной длительности и врачует

не одного его, а всякого нового читателя, для которого иногда это и вообще первый опыт живого диалога с природой.

Русский пейзаж, прежде такой любимый нашей прозой и знавший великие образцы у Тургенева, Чехова (в его «Степи»), у несравненного Бунина, медленно сошел в прислуги, в пустую декорацию, а там и вовсе исчез, потому что проза окончательно «переехала в город». Но, слава Богу, с ним нам опять выпадало счастье вспомнить святую радость видеть, слышать и обонять мир: «Я принял ягоды и уткнулся в них лицом... Чем они пахли, эти ягоды, всюду по России растущие, и здесь, на старых недорубах, одарившие радостью мою артель? Если может пахнуть летняя земля, они впитали от нее самые тонкие, самые откровенные и все же чуть притаенные ароматы, среди которых ощутимее всех доносило тающим снегом. Этакий тихий весенний вздох. А еще они пахли всякой земной травкой, всякой былкой, всем, что жило, цвело и пело под летним солнцем в этом Богом нам подаренном мире».

Он слышал в этом «Богом подаренном мире» всё — не одни свет и радость. И когда природа поворачивалась страшной стороной, он и тут принимал и писал ее с простотой и основательностью человека, чувствующего себя ее частью, ее сыном и вместе хозяином, принявшим ее уроки и знающим, как устоять в ней. Как мы любили когда-то в «Царь-рыбе» эту их «семейную сродность», это слышание друг друга и взаимную оглядку в хитром ли Командоре, в добром ли Акиме, как жадно вчитывались, с удивлением видя, как еще природен человек. Теперь уж это в литературе реже, реже. И разве у него еще мелькнет с прежней силой, как в затеси «Стынь», когда зажмет мужиков в зимовье небывалый, редкий и для Сибири мороз, и они неумело, но уж искренне, так искренне перекрестясь, запрутса с собаками в стремительно улетающем тепле, и останется им только ждать да слушать, как на реке «что-то звенело туго натянутой струной, может, прорубь льдом схватывало, может, ледяную броню на реке резало, может, густо искрящие снега, в золу обращаясь, от стужи стояли, или уж воздух, раскаленный добела, предсмертно звучал. Порой струны со щелчком рвало, и тогда злой, больно стрельнув в зубы людей, звук иглою пронзал рабски сжавшееся земное пространство, уносился неизвестно куда, скорее возносился к звезд-

дам, к невидимому и даже неощутимому в тумане мирозданию. Если выразить этот звук словесно, он будет приблизительно таким: «Сты-ы-ы-ы-нн-нн-нь-нь».

Ах, жива земля-матушка и умеет еще показать себя, и жив русский художник, который примет ее вызов с восторгом и отблагодарит ее чудом слышания и понимания. Как к месту он вспомнил тогда хоть одну вот эту тоскующую, перехватывающую дыхание полноту забываемого слова «стынь» и тем вернул ему молодую свежесть и силу.

И нам в радость читать эти «затеси», как ему в свой час их писать. Читатель следом за художником укрывался в них на минуту от горечи жизни, от все неубавляющегося зла, которое к тому же потеряло сейчас прежнее открытое русское простосердечие, а изощрилось до «идейной» тонкости и теперь так иногда вырядится, что его того гляди за добродетель примешь.

Сколько он сам через силу, с тяжелым сердцем написал этого зла в последние свои годы, написал иногда по-детдомовски размашисто, прямо кулаками, потому что словами это зло не достанешь. И как нам было жаль, что он расточает Господень дар на «слишком человеческие дела», обескровливает слово в срывной публицистике, снижает его прямой уличной бранью. Но ведь без этого он был бы не он. Русский же, и как бы сам сказал, «моралис же, баушкой и родным опчеством воспитанный», как без того, чтобы все и всем сказать напрямую. Толстой вон все себя корил в последние годы, что пишет много, что это от «старческого самолюбия, от желанья, чтобы все думали по-моему».

Да разве он один? Вся русская литература такова — непременно «Выбранными местами» норовит кончить. Да и одна ли литература? Любой старый человек говорлив и назидателен. Это в нем жизнь говорит, ее опыт, ее самозащитный консерватизм. В шаткие времена тем более. Вот и защищается художник от себя и мира неизменяющей, милосердной природой: «Когда трудно засыпается, а с годами это становится навязчивой и почти больной привычкой, я воскрешаю в себе прошлые видения. Вот неторопливо иду я по лесу, чутко вслушиваясь и всматриваясь в глубь его и замечая всякое в нем движение, взлет, вскрик, наутре лесной птичий базар... Иду, иду, и сердце мое большое, изношенное,

тоже успокаивается, гуще лес, тише даль, наплывает сон. О тайга, о вечный русский лес и все времена года, на земле русской происходящие, что может быть и есть прекрасней вас? Спасибо Господу, что пылинкой высеял меня на эту землю, спасибо судьбе за то, что она... подарила въяве столько чудес, которые краше сказки».

Он закончил последнюю свою книгу этой светлой молитвой. И с этим же врачующим чувством и сегодня еще закрываем ее и мы. Но настоящего покоя нет. Мятежный художник как будто минует в этой книге вопросы века, бежит от них, проговорившись с отращением разве только в рассказе «Пионер — всем пример», где из балованного пионера, поджигающего брошенную избу из одного желания посмотреть, как она будет гореть, вырастет демократический депутат, который будет выжигать всю материнскую Россию.

А в остальном все — как в лучшие дни и годы, когда силы его были в расцвете и народная любовь к нему всеобща. Его молодые коллеги, да часто и сверстники бежали вперед сломя голову, к новым сюжетам и новому человеку, а он «отставал», договаривая старое, даже подчеркивая это старое ссылкой на давность замыслов, но это «отсталость» здоровой жизни, которой не надо забегать вперед себя, чтобы чувствовать мерный шаг времени, не совпадающий с суетливым календарем.

Оттого книга и казалась при рождении «очередной» и как будто знакомой героями и бытом. Но, вслушавшись, все-таки на глубине мы уже ловили сбивающееся дыхание нынешнего дня и нынешней тоски и тревоги, нынешней духовной неотчетливости. Гони мир в дверь, он постучит в окно. И покоя в душе не будет. Не будет и однозначного отношения к Виктору Петровичу Астафьеву, потому что теперь он так и останется там, предпочитая жить и погибать с человеком, с высшей его правдой, которую сам-то человек часто и уступить готов, да художник ему не позволит и тем уберезет полноту, яркость, молодость и нетускнеющую свежесть жизни. Наш диалог с ним еще долго будет труден, но, как хочется думать, что Господь не зря время от времени посылает «круглые даты» юбилеев великих художников в надежде, что мы еще научимся слышать друг друга лучше и бережнее, потому что труд этот не кончается со смертью писателя, и, пока живы его книги, слава Богу, труд этот навсегда останется обоюден.



## Василий Авченко

Родился в 1980 году в Иркутской области. Окончил журфак Дальневосточного государственного университета. Писатель и журналист. Автор документального романа «Правый руль» (2009), беллетризованной энциклопедии-путеводителя «Глобус Владивостока» (2012), книги «Кристалл в прозрачной оправе. Рассказы о воде и камнях» (2015) и др. Живет во Владивостоке.



## ЗАГАДКИ ПЕЧЕК И ЛАВОЧЕК, ИЛИ ШУКШИН КАК АЙСБЕРГ И ЖАНР

В этом году Василию Шукшину — девяносто. Сорок пять он прожил — еще сорок пять прошло без него.

Вернее, с ним.

### Время и место:

### от Стеньки до Чудика, от Волги до Катуня

**О** чем Шукшин? Говорят — о «чудиках». Как будто это слово, которым назван всего один из сотни шукшинских рассказов, что-то объясняет.

Центр шукшинского мира, его Макондо и Чегем — сибирская позднесоветская деревня. Из текста в текст переходят подлинные фамилии: Любавины, Байкаловы, Расторгуевы, Малюгины... Деревни Листвянка и Баклань, корова Райка, «шалавый» кобель Борзя. Сибирские словечки — от «но» в значении «да» до блесны

«на подвид битюря». Помню, удивлялся: неужели специализация блесны столь узка — на один подвид рыбы? Оказалось: «на подвид» — это «наподобие». Биологический термин «подвид» здесь ни при чем.

При всей сибирскости и алтайскости Шукшин — автор не локальный, подтверждение чему — всенародная и неподдельная к нему любовь. Пусть ее бывает непросто отделить от сочувствия к Егору Прокудину, навсегда слившемуся с Шукшиным.

Начался Шукшин в оттепель. Исторический фон его рассказов — катаклизмы XX века, перетряхнувшие жизнь русского мужика: коллективизация, война, взрывная урбанизация... Здесь же — личная история, слитая с судьбой страны: расстрелянный отец, погибший на войне отчим, стремительное — поневоле — взросление (насколько зрелым выглядит Шукшин в «Двух Фёдорах» и в «Когда деревья были большими»; ему там — вокруг тридцати, но сегодняшние 30-летние рядом смотрелись бы детьми). Биография во многом типичная, взять хоть младших шукшинских современников — Вампилова и Шпаликова. Но исторический контекст Шукшин чаще всего обозначает намеком, вскользь. Начальник из одноименного рассказа на вопрос, за что сидел, ответит: «Сто шестнадцать пополам» (то есть 58-я статья) — и все.

Неотрывный от выпавших ему времени и места, Шукшин выламывается из ряда что деревенщиков, что шестидесятников.

У каждого художника своя оптика — у кого микроскоп, у кого снайперский прицел. Вот один из штрихов, характеризующих зрение Шукшина. Он не раз и не два бывал в Западной Европе: Италия, обе Германии, Франция... Но за граница его как художника не интересовала, материалом не становилась. И национального вопроса для него, похоже, не существовало вовсе. Он видел только русского человека. Чаще всего — деревенского или же перебравшегося в город, но настоящим горожанином еще не ставшего, не прибившегося ни к какому из берегов.

Иностранец не поймет Шукшина так, как мы. Он непереводам и на смысловом, и на лексическом уровне. Листал как-то его сборник на английском I want to live; но ведь I want to live — вовсе не «Охота жить».

Любимейшие герои Шукшина, зримо и незримо присутствующие чуть не в каждом его произведении, – Степан Разин и Есенин. Вот ключевые для него фигуры русской жизни: народный вождь, бунтарь, разбойник с Дона и последний поэт деревни. С обоими он чувствовал родство по самым разным линиям – взять хоть богоборчество в сплаве с богоискательством, хоть простое отношение к государству.

Еще одна фигура — Ломоносов, самородный гений-провинциал, путь которого Шукшин в каком-то смысле повторил. Не случайно в «Калине красной» звучит песня об «архангельском мужике» на некрасовские стихи.

Михаил Тарковский как-то спросил: «Какие рассказы Шукшина у тебя любимые?» Я начал было перечислять, назвал с два десятка... Да все — любимые.

Андрей Битов говорил, что писатель всю жизнь пишет один текст; у Шукшина — именно так, несмотря на все жанровые, хронологические и тематические различия. На первый взгляд, романы «Любавины» о деревне 1920-х и «Я пришел дать вам волю» о восстании Разина в 17-м веке далеки от шукшинских рассказов. Но «Любавины», судя по наброскам и некоторым проговоркам, — это мучительная попытка Шукшина понять своего отца, которого он почти не помнил; очень личная вещь, лишь кажущаяся эпосом. В книге о Разине Шукшин тоже разбирался с самим собой, верой, государством, народом... «Я пришел дать вам волю» обнаруживает удивительное единство с шукшинскими рассказами. Пропasti нет; более того, разинцы Шукшина порой даже выражаются точно так же, как герои его «современных» рассказов. Вот, к примеру, Бронька в «Миль пардон, мадам!», отвечая на вопрос, откуда у него такое редкое имя, говорит: «Поп с похмелья придумал. Я его, мерина гривастого, разок стукнул за это, когда сопровождал в ГПУ в тридцать третьем году». А вот Стенька Разин, в гневе разыскивая воеводу Унковского, кричит священнику: «Где ты его прячешь, мерин гривастый?!»

Разина Шукшин постигал через себя, себя — через него. «От пустых слов — своих и чужих — атамана тошнило» — это ведь и о Шукшине. И вовсе не случайно название романа начинается с «я» (не как у Злобина или Чапыгина — «Степан Разин»

и «Разин Степан»). Шукшин хотел сам сыграть Разина. Изображая его казнь, просил жену не ложиться спать – боялся, что с ним что-нибудь случится. Рыдал потом: такого мужика погубили, сволочи...

Предки Шукшина пришли в Сибирь с Волги. В романе о Разине он напрямую, одним стежком, связывает времена и пространства. Старый богатырь рассказывает атаману: «А вот почесть мои родные места. Там вон в Волгу-то, справа, Сура вливается, а в Суру — малая речушка Шукша... Там и деревня моя была, тоже Шукша. Она разошлась, деревня-то... Ажник в Сибирь двинулись которые... Там небось и пропали, сердешные... У меня брат ушел... двое детишков, ни слуху ни духу». Повествованию эта деталь о Шукше — левом притоке Суры – ничего не дает. Но, видимо, Шукшину было важно обозначить и утвердить свое кровное родство с разинцами.

### Энергичные люди — свои и чужие

Художник, подобно сейсмографу, многое чувствует острее и раньше других. Шукшин зафиксировал зарождение социальных явлений, по-настоящему развернувшихся позже — в 80-х и 90-х.

Парень из рассказа «Привет Сивому!» — бугай в цветастой рубашке с мощными плечами и «обширной грудью» — настоящий «новый русский» по облику и поведению (разве что, пожалуй, он потоньше «быка» из анекдотов, еще способен иронизировать). Типаж кристаллизовался уже тогда — не с другой же планеты, в самом деле, свалились новые русские 1990-х. Просто в 1970-х такие люди еще не были социологически значимой величиной, но Шукшин увидел их и описал, причем с явной тревогой.

Критик Капитолина Кокшенёва видит в Изыщном черте из шукшинской сказки «До третьих петухов» современного хипстера. Критик Андрей Рудалёв возводит социальную генеалогию Анатолия Чубайса к шукшинским «энергичным людям» из одноименной пьесы: «Именно эта публика подготовила в свое время контрреволюцию сверху».

«Энергичные люди» (жанр определен автором как «сатирическая повесть для театра») после 1991 года стали актуальнее, чем в момент написания. Как можно было понимать эту повесть в начале 70-х — как сатиру на спекулянтов? Глубина текста стала по-настоящему очевидной тогда, когда автора давно не было на свете. «Какой-то процент, кажется пятнадцать процентов, государственного бюджета отводится специально — под во-ровство... — говорит в повести Аристарх. — Всякое развитое общество живет инициативой... энергичных людей. Но так как у нас — равенство, то мне официально не могут платить зарплату в три раза больше, чем, например, этому вчерашнему жлобу, который грузит бочки. Но чем же тогда возместить за мою энергию? За мою инициативу? <...> Все знают, что я — украду. То есть те деньги, которые я, грубо говоря, украл, — это и есть мои премиальные. Поняла? Это — мое, это мне дают по негласному экономическому закону». А вот что пишет Андрей Рудалёв об Аристархе и его приятелях, которые теперь представляются прото-гайдарами и прото-березовскими: «В них смесь самодеятельности-креативности с криминалом. Их символ жизни и веры состоит в том, что «определенная прослойка людей и должна жить... с выдумкой, более развязно... не испытывать ни в чем затруднений». Через годы эта логика стала структурообразующей в обществе... Каждый представитель креативного класса считал своим долгом о чем-то подобном поведать, вывести свою апологию «энергичных людей». Что могли позволить себе «энергичные люди» брежневского СССР? Квартиру, «Волгу», коньяк вместо водки, санаторий в Абхазии... — ни тебе яхт, ни вилл на Лазурном берегу, ни детей в зарубежных вузах, ни заводов-газет-пароходов. Через полтора-два десятка лет после написания повести эти самые энергичные люди заняли ведущие посты в экономике и госуправлении. Их стали называть «эффе́ктивными менеджерами». Герои Шукшина по сравнению с ними — дети: «сымпровизировали» пять покрывал и сидят радуются.

Тень Чубайса Андрей Рудалёв разглядел и в рассказе «Чужие». Речь в нем идет о великом князе Алексее (дяде Николая Второго), который разворовывал казну и разваливал флот, приведя его к гибельной Цусиме. «Чубайс и великий князь — «чужие»,

и своими им никак не стать. И дело здесь не в каких-то ошибках молодости, а в общем векторе жизненного пути персонажей, в их нарочитой инопланетности и беспочвенности», — убежден Рудалёв.

Но все-таки главные антигерои Шукшина — не «энергичные люди», которых он где-то и жалеет. Степана Разина он отнюдь не идеализирует — изображает в жутких деталях его расправы, нередко над неповинными, — но все равно зачарованно любит им. Судит Любавиных — но видит в них крепкое, крестьянское, корневое.

Настоящие отрицательные герои — другие: продавщицы, хамы, вахтеры, вызывающие у Шукшина натуральный ужас, отчаяние. «ЕЕ победить невозможно» — это о больничной вахтерше из «Кляузы». Или: «Я боюсь чиновников, продавцов и вот таких, как этот горилла».

Часты в галерее отрицательных персонажей Шукшина жены и тещи. Зато мать всегда — святая.

## Отец русского артхауса

За полтора десятка творческих лет Шукшин прошел гигантский путь. Незадолго до ухода говорил, что намерен после «Разина» оставить кино, вернуться в Сростки, заниматься только литературой... Умер на взлете, в переломной точке. Поздний Шукшин — это постоянный поиск новой интонации, новой формы.

Рассказы он делает все документальнее, все невыдуманнее. Это уже не рассказы даже, а художественные мемуары: «Дядя Ермолай», «Рыжий», «Мечты», «Чужие»... В них впервые Шукшин начинает говорить «я». Преодолевает сюжетность, как ракета — земное тяготение. Важнее сюжета становится мысль, воспоминание, неуловимое ощущение...

Он и раньше уходил от «сильных ходов», ударов ниже пояса. В первом варианте рассказа «Мой зять украл машину дров!» герои гибнут, рухнув в машине в реку, во втором — расстаются миром. По поводу своего дебютного фильма «Живет такой парень» Шукшин сетовал: зачем, мол, ввел подвиг — спасение Пашкой

народного добра, неужели без этого было нельзя... Но ведь иначе фильм могли разругать: ездит по Чуйскому тракту какой-то Пашка-пирамидон, волочит за каждой юбкой; что в голове у него, зачем живет такой парень?

Даже в «Калине красной» убийство представляется не обязательным, потому что ясно: трагедия Егора – крестьянина, оторвавшегося от земли, родины, предков, серьёзное мести «малины». Оставь дружки в покое бывшего рецидивиста Горе — это ничего бы не изменило. Когда Егор выходит от не узнавшей его матери и рыдает, упав на землю, на фоне церкви, — никакой Губошлёп уже не важен и не интересен. Гибель Егора, как только что понял он сам, уже случилась.

«Печки-лавочки» в каком-то смысле сложнее: а если без убийств, страстей, слез? Вот: едет мужик с Алтая в Крым. Как это показать, чтобы было интересно и умно?

В свое время схожие задачи решал Чехов. На Сахалине он встречался с интереснейшими персонажами: легендарной авантюристкой Сонькой Золотой Ручкой, убийцей и героем Карлом Ландсбергом, отцом Хармса — Иваном Ювачёвым... Но не сделал их своими героями, осознанно отказавшись от остросюжетности.

Поздний Шукшин работал на стыке жанров. Писал «киноповести» и «повести для театра»: пьесы-не пьесы, повести-не повести... В черновиках «Точки зрения» сохранились варианты подзаголовка, выдающие сложность жанровой идентификации: «фарсовое представление», «опыт современной кинематографической сказки».

У него появляются «Выдуманные рассказы» — зародыши полноразмерных произведений, оказавшиеся неожиданно для самого автора самодостаточными и в микроформе. Например: «Человек купил, наконец, дубленку, долгожданную, желаннейшую дубленку... И к вечеру стал вдруг (в дубленке), стал таким умным, сведущим, начитанным, информированным, свободомыслящим, резким... И сказал, сплюнув: «Достоевский — это не пророк»». Или: «Человек повез в район телевизор ремонтировать — ближе никак нельзя было отремонтировать. С большими сложностями и трудностями отремонтировали — устал, изнервничался, изозлился... Вечером включил — идет

какая-то чепуха. Человек обиделся на все на свете и дал по телевизору сапогом. Выключил».

«Кляуза» имеет подзаголовок «опыт документального рассказа». Так же могли бы называться и «Чужие», где автор дает огромную цитату из неназванной исторической книги. «Три грации» названы «рассказом-шуткой»... «Достаточно цельный при всех своих противоречиях художественный мир Шукшина 1960-х годов в 1970-е не то чтобы раскалывается, но дает побег в разные стороны, — сформулировал Алексей Варламов в ЖЗЛ-биографии Шукшина. — Наряду с документализмом рассказов, условно говоря, автобиографических... и, как это ни парадоксально, мистических («Сны матери», «На кладбище») ... выходили произведения откровенно анекдотические, хулиганские, экстремальные — такие, как... рассказы «Как Андрей Иванович Куринов, ювелир, получил 15 суток» и «Ночью в бойлерной». И это совсем другой, неожиданный Шукшин».

В ряде вещей Шукшин дает свободу фантазии, проводит формальные эксперименты. В ироничной «Точке зрения» история постмодернистски разветвляется на несколько вариантов. Оставаясь традиционалистом, утверждая: «Нравственность есть Правда», Шукшин вольно или невольно сближался с постмодернизмом, о чем имеется ряд научных работ (первая, как пишут, создана на Западе — немецким славистом Раулем Эшельманом в 1994 году). Эволюция самого Шукшина была связана с логикой развития мировой культуры, в которую он был при всей своей самобытности встроен куда сильнее, чем кажется.

Перечитывая и пересматривая Шукшина, приходишь к выводу: в прозе он часто — самый настоящий постмодернист, а фильмы его — чистой воды артхаус, маскирующийся под деревенское кино с избами и березками и сочетающий нетривиальные ходы с традиционалистским содержанием. Шукшин был смелым и оригинальным экспериментатором, его киноязык только на первый взгляд может показаться простым. Он — новатор не в меньшей степени, чем его знаменитый однокурсник Андрей Тарковский. Эти два ученика Михаила Ромма куда ближе друг к другу, чем может показаться, несмотря на западничество одного и почвенничество другого. Сближают их прежде всего серьезное, даже



маниакальное отношение к своему делу, ответственность за каждое слово и каждый кадр, неприятие халтуры.

«Живет такой парень» зрителю понравился — но кино восприняли как кинокомедию, что автора расстраивало. То же было с «Печками-лавочками» (Шукшин: «Если попытаться найти в данном сюжете жанр, то это комедия. Но... разговор должен быть очень серьезным»). Критик, читатель и зритель для своего удобства причисляют произведение к одному из привычных им жанров, но такое *определение* — суть ограничение и упрощение. Есть вещи междужанровые и внежанровые; жанр, в котором работал Шукшин, лучше всего так и назвать: «Шукшин».

Второй фильм «Ваш сын и брат» зритель принял несколько прохладнее, «Странные люди» — кино из трёх новелл — провалились. Увидев, что зрителю непривычно его композиционное новаторство, Шукшин понял: «Вывернись наизнанку, завяжись узлом, но не кричи в пустом зале». Экспериментируй сколько угодно, но делай кино, которое было бы понятно и интересно человеку — не только высоколобому эстету. Следующие две ленты — «Печки-лавочки» и особенно «Калина красная» — были поняты и приняты всеми, навсегда сделав Шукшина классиком кинематографа. Но и в этих картинах он не оставлял экспериментов. Михаил Ульянов однажды заметил: ««Калина красная» — странный фильм: если попытаться анализировать ее с точки зрения обычной логики, можно найти много эпизодов, казалось бы, несовместимых».

Во всех фильмах Шукшина — сплав игрового и документального: проход отары овец в «Парне»; старушка, которая в «Калине красной» выступает в роли матери Егора, не играя, а просто рассказывая историю собственной жизни; парень-зэк оттуда же, поющий «Ты жива еще, моя старушка»; родные самого Шукшина и деревенское застолье в «Печках-лавочках»... Повествование прерывается то воспоминанием, то сновидением (фантазии Пашки в «Парне», посещение председателем колхоза собственных похорон в «Странных людях»). Шукшин избегал примелькавшихся актерских лиц, охотно (как позже Балабанов) привлекал непрофессионалов, поощрял импровизацию. В кадре у него — балалаечник Фёдор Телелецкий, поэт Белла

Ахмадулина, писатель Артур Макаров, клоун Леонид Енгибаров, бард Анатолий Иванов...

Когда в финале «Печек-лавочек» босой Шукшин на Пикете говорит: «Все, ребята, конец», непонятно, кто перед нами — герой или автор? И что значит «конец» — конец рассказа Ивана, конец фильма? Или — как в «Кляузе»: «Я вдруг почувствовал, что — все, конец...»?

Это сегодня авторское кино кажется понятным, законным явлением. Так было не всегда. Считалось необходимым разделять труд режиссера, сценариста, актера. Но уже в дипломной работе «Из Лебяжьего сообщают» Шукшин выступил в трех лицах сразу, дерзко ломая все представления. Говорят, на защите его подковырнули: музыку для кино тоже сами будете писать? Он ответил: буду! И действительно — сам искал музыкальные лейтмотивы своих картин: «Миленький ты мой», «Калина красная»... Композитор Павел Чекалов по его совету сочинил главную музыкальную тему фильма «Живет такой парень», использовав шоферскую песню «Есть по Чуйскому тракту дорога...». Кажется, было бы можно — он бы и реквизит играл, и не из мании величия, а потому что все это — его. Как он сделает — не сделает никто. Не случайно попытки экранизировать Шукшина без Шукшина чаще всего неудачны. Его кино — авторское в самом полном смысле слова.

Сейчас налицо расцвет продюсерского и кризис авторского кино: во главе угла — деньги, артхаус остается уделом крошечных концептуальных фестивалей, гении ищут средства — и не находят... А нашел бы сегодня Шукшин деньги на те же «Печки-лавочки» — кино о том, как тракторист едет «к югу»? Вопрос.

## Зашифрованный

«Все время я хоронил в себе от посторонних глаз неизвестного человека, какого-то тайного бойца, нерасшифрованного», — сказал Шукшин в одном из последних интервью. Парадокс: всенародно любимый, близкий, родной, свой в доску «Макарыч» до сих пор остается нерасшифрованным, подводная часть айсберга по-прежнему скрыта. Как и Вампилов, Шукшин — автор

недопрочитанный. Шукшин — не о «чудиках», как вампиловские «Провинциальные анекдоты» — вовсе не анекдоты. Распутин однажды сказал о «восторженном непонимании» Вампилова; эту формулировку можно отнести и к Шукшину.

«О своих планах никому не рассказывал. Шифровался — вот откуда пошла ставшая в дальнейшем излюбленной линия его поведения», — пишет Алексей Варламов о юности Шукшина. Еще: «По природе своей Шукшин — художник, то есть фантазер и импровизатор... Он, как и... его герой Пашка Колокольников,... ершился или предпочитал рассказывать легенды, и не случайно жизнь его в легенду и превратилась». Еще: «В судьбе Шукшина реальное и мифологическое переплелось так тесно, что отделить одно от другого едва ли возможно». Взять хоть знаменитую историю о том, как Шукшин поступал во ВГИК, якобы не зная о существовании профессии режиссера (письмо, посланное им в Москву еще из Сросток, показывает: знал); не менее знаменитые кирзачи... «Образ малограмотного парня в сапогах, не читавшего Льва Толстого, — каким Шукшин предстанет на вступительных экзаменах и будет казаться во время учебы во ВГИКе, — это легенда, мистификация, которую он охотно поддерживал, но которая ничуть не соответствовала действительности», — доказывает Варламов.

Ключ к пониманию жизненной и творческой стратегии Шукшина — сцена из «Печек-лавочек», где его Иван рассказывает московским филологам: «Была у меня в молодости кобыла... И вот у этой кобылы, звали ее Селёдка, у Селёдки, стало быть, — Иван наладился на этакую дурашливо-сказочную манеру, малость даже стал подвывать, — была невиданной красоты грива...». Потом объяснил: «Меня еще дед мой учил: как где трудно придется, Ванька, прикидывайся дурачком. Сдурачка спрос невелик» (тут — прямая отсылка к другому Ивану, из «До третьих петухов»). В этой сцене Шукшина больше, чем в Егоре Прокудине.

Случайно ли рассказы о своем детстве — самые личные и личные, невыдуманные — он назвал «Из детских лет Ивана Попова», как бы отстранясь: это не про меня, это, может, про троюродного брата? Ни полграмма фальши, ни словечка лжи, Шукшин всегда искренен и откровенен, но все-таки — всегда играет.

Шукшин-актер несколько заслонен писателем и режиссером; нам кажется, что он вообще не играет, а просто живет на экране — но это и есть признак высочайшего актерского мастерства.

Он старался казаться проще, чем был, и ему верили. Может быть, в какой-то момент он стал заложником собственной стратегии, когда уже, правда, подобно сказочному Ивану, впору стало идти к Волшебнику за справкой о том, что ты умный и современный.

Большой труд, насмотренность и начитанность оставались за кадром и между строк. Когда читаешь Шукшина, кажется, что это даже не совсем литература — просто человек рассказывает историю, говорит с тобой по душам... Это создает удивительное ощущение подлинности, непридуманности. Как будто нет ни стиля, ни композиции, ни изобразительных средств; все спрятано, как шатуны и поршни под капотом. Автор, кажется, не думает над ритмом, метафорами, образами... Уходит от красивостей, начинает без разгона: «Старик Наум Евстигнеев хворал с похмелья...». Или: «Сашку Ермолаева обидели...». А то — вообще с союза: «И стало это у Константина Смородина как болезнь». Георгий Бурков вспоминал: «Его рассказы — скорее трагические притчи, чем комедийные истории... Всех он дезориентировал языком своей прозы. Язык ввел в заблуждение — уж больно смешной какой-то, чудной». Рассказы Шукшина обманчиво бесхитростны, но их простота — не та, что хуже воровства. Это высокая простота графитового грифеля — родного брата алмаза. Рассказы, написанные будто бы на одном дыхании, — тщательной, как стихотворение, выделки. Цельные, как кристалл или... сибирский валенок — тоже совершенное произведение без швов, непонятно как сделанное.

Часто рассказы эти — более жесткие, хирургически-беспощадные, бескомпромиссные, чем сочинения записных диссидентов.

В них много загадок. Зачем, к примеру, автор дважды упомянул дату 25 июля («Миль пардон, мадам!» и «Мой зять украл машину дров!»)? Тут просто: это его собственный день рождения. А почему рассказ «Пьедестал» называется «Пьедестал»?

Шукшин редко пускался в теоретические размышления об искусстве и эстетике, считая: «Не дело режиссеру «толмачить» свой

фильм...». Но не раз ставил эти вопросы — как бы в несерьезной форме — в прозе: «Артист Фёдор Грай», «Ваня, ты как здесь?!», «Критики»... Уходя от однозначных ответов, автор растворялся в героях. Прямых высказываний у него мало — в нескольких статьях, и то большей частью неоконченных. Шукшин не хотел объяснять (упрощать), пускаться на свою кухню, но для самого себя все он, конечно, сформулировал — давно и четко.

## Завещание Шукшина

Невольным завещанием Шукшина часто считают финальную строку «Кляузы» — одного из последних рассказов: «Что с нами происходит?». Выкрик, полный отчаяния и беспомощности.

Думаю, есть куда больше оснований считать завещанием ряд других текстов. В их числе — упомянутые «Чужие», последний рассказ Шукшина. Он пронзительно современен и тревожен (а казалось бы: где 1905 год, где 1970-е, а где мы). Обратившись к трагедии русско-японской войны, Шукшин говорит о параллельном существовании двух России: элитной и низовой, которые разошлись, кажется, бесконечно далеко. Первую символизирует беспечный вороватый князь, вторую — дядя Емельян, участник той самой войны и сrostкинский земляк Шукшина. Автор приходит к горькому выводу: не о чем поговорить этим соотечественникам, даже на том свете. Сегодня, когда мы видим новое экономическое и ментальное расслоение общества, когда расхождение верхов и низов достигло каких-то чудовищных градусов, рассказ кажется пророческим. Из-за «распилов» и «откатов» князя, наживавшегося на госконтрактах, чилийские броненосцы достались не России, а Японии; а в 1990-х энергичные люди продали на гвозди в Китай оба авианесущих крейсера Тихоокеанского флота. В начале XX века дошло до социального взрыва — до чего дойдет теперь?

Еще одно завещание — авторская аннотация к двухтомнику для «Молодой гвардии». Датирован этот текст 21 августа 1974 года — до смерти чуть больше месяца. Начинается он как документ сугубо внутренний, объясняющий структуру сборника,

а заканчивается совсем иначе. Автор обращается уже не к редакторам, а к широкому читателю, в его словах звучат пафос и мудрость: «Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвел в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совесть, доброту... Уверуй, что все было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наши страдания, — не отдавай всего этого за понюх табаку... Мы умели жить. Помни это. Будь человеком». За этими выстраданными словами — размышления, сомнения, вечные споры (от дореволюционных диспутов западников и славянофилов до интернет-баталлий нынешних либералов и патриотов).

Может быть понята как завещание и беседа с корреспондентом «Литературной газеты» Григорием Цитриняком, состоявшаяся летом 1974 года на Дону, на съемках «Они сражались за Родину». Шукшин, рассказав о знакомстве с Шолоховым (его кинокарьера и началась, и закончилась Шолоховым: первая роль — матрос за плетнем в «Тихом Доне» Герасимова), говорит: «Нужно садиться писать. Для этого нужно перестраивать жизнь, с чем-то расставаться... Оградить себя, елико возможно, от суеты. Суета ведь поглощает, просто губит зачастую. Обилие дел на дню, а вечером вдруг понимаешь — а ничего не произошло... А весь день был занят. Да занят-то как — прямо «по горло», а вот — черт-те, ничего не успел. Ужас. Плохо. Плохо это... Это же чуть ли не норма жизни, хлопотня такая — с утра дела, дела, тыщи звонков... Но так, боюсь, просмотришь в жизни главное... Может, не бывать одновременно в десятках мест? Ведь самое дорогое в жизни — мысль, постижение, для чего нужно определенное стечение обстоятельств и, прежде всего, покой». Выйдя от Шолохова, Шукшин поклялся: «Надо работать. Работать надо в десять раз больше, чем сейчас... Не проиграй — жизнь-то одна». И это говорит человек, всю жизнь работавший как проклятый — с сиротского военного отрочества.

В мае того же 1974 года Шукшин говорил журналисту итальянской «Униты»: «Мы получаем много информации нынче... Но не успеваем или плохо ее перевариваем, и отсюда сумбур у нас полнейший... Отсюда — серьезная тоска. Оттого, что мы какие-то вещи не знаем

точно, не знаем в полном объеме, а идет такой зуд: мы что-то знаем, что-то слышали, а глубоко и точно не знаем...».

Все это он говорил задолго до появления мобильных, интернета, соцсетей, когда право *не знать* стало уже не менее важным, чем право *знать*, право на защиту *от* информации — чем право *на* информацию. Шукшин ощущал подземный гул будущих землетрясений.

\*\*\*

Живы ли сегодня его герои?

Вспоминаю сибирского родственника, «неуемного деда», который однажды написал нам: «Дядя Вася Макаров сочинил поэму «Попы и я» — антибиблию. Мы ее издали. Правда, небольшим тиражом — 12 экземпляров. На столько хватило пенсии».

Лет под 20 назад познакомился со старостой островка Рейнеке под Владивостоком. Остров был забыт богом и мэром, местные жители бичевали, пьянствовали... У старосты — пенсионера — обнаружился компьютер, на котором он не в танчики играл, а изобретал новый метод вычисления синусов. «Если бы не твои свиньи и куры, — говорил жене, — я бы уже Нобелевским лауреатом был».

Мой друг изобрел электромагнитную пушку для доставки полезных ископаемых с Луны на Землю — на будущее.

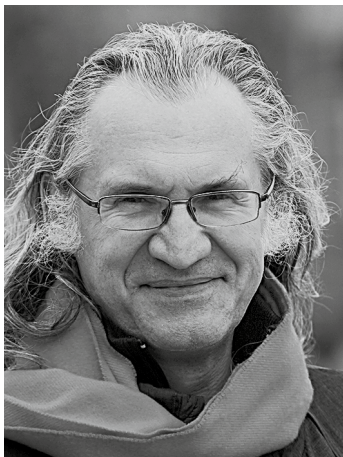
Энергичных людей вокруг — не счесть. Крутят, мутят, выгадывают, впаривают, сращивают...

Чужие — тоже налицо.

Если Шукшин и придумывал, то — правду.

...Однажды он написал: «Не теперь, нет. Важно прорваться в будущую Россию».

Он — прорвался.



## Сергей Тепляков

Родился в 1966 году в Новоалтайске. Учился на историческом факультете Барнаульского государственного педагогического института. Работал в газетах и на телевидении. Автор исторических и биографических книг, в том числе о М. С. Евдокимове, В. С. Золотухине и В. М. Шукшине. Член Союза писателей России. Живет в Барнауле.

## ТА САМАЯ МАЙЯ ЯКУТИНА

**В** начале декабря 1952 года Василий Шукшин был комиссован с флота. Когда он вернулся домой, точно неизвестно, но логично предположить, что к исходу первой декады или к середине декабря он уже приехал в Сростки.

Тут завязался еще один сюжет его жизни: Майя Якутина. Если сейчас у кого-то в голове вспыхнуло «Да это же!..» — да, это та самая Майя Якутина из рассказа «Страдания молодого Ваганова». Вернее, та, да не та.

О том, что героиня одного из самых известных рассказов Шукшина — реальный человек, до последнего времени никто не знал. Майя Семёновна объявилась сама — в 2017 году написала в музей в Сростки, сообщила, что у нее есть три письма Шукшина к ней. Письма весной 2018 года опубликовал журнал «Бийский вестник» (№ 2). Прочитав их, я связался с музеем, выпросил телефон и позвонил.

На момент нашего разговора Майе Семёновне было 88 лет. Но голос бодрый, веселый. Рассказала, что в 1952 году по окончании юридического факультета Ташкентского университета ее



распределили на Алтай, в Сростки — следователем прокуратуры. Как это делалось тогда, разместили на квартире. Сначала у какой-то бабушки. Но домик оказался маленький, квартирантка и хозяйка жили в одной комнате. И скоро молодому следователю подыскали новое жилье. Волею судьбы она поселилась у стариков Куксиных, родителей отчима Василия.

— У них был домик в две комнаты, и одну комнату они сдавали. Вот я у них сняла... — вспоминала Майя Семёновна.

В университете она специализировалась по гражданскому праву, в следователи не собиралась. Признается: «Из меня следователь был никакой». Спасало то, что тогда и дел серьезных не было.

— За все время два-три случая. Однажды на тракте машина человека сбила. Еще у пасечника пчелы погибли — он их неправильно кормил, и у них болезни начались. На Катунь был детский интернат, там пропала девочка, оказалось, она утонула, и ее течением принесло к нам, выбросило на остров. И я как следователь туда ездила. Вот и все дела... — вспоминает Майя Семёновна.

Они увидели друг друга в первый же день его приезда. Майя с подружкой, попавшей в Сростки по распределению из Москвы, вечером отправилась в кино.

— Когда шли из кино, за нами шел какой-то парень. Такая походка — вразвалочку, как на корабле. Куда мы, туда и он. Я думаю — чего за нами увязался? Я же не знала, что Куксины жили через плетень с Марией Сергеевной. Он видел, куда я зашла. И наутро пришел к деду с бабкой. На столе у меня стояла коробка с домино. Он говорит: «Сыграем?» Я сказала, что не особенно и умею. Но начали. И я его обыграла. Он говорит: «Вот так не умею!» Так мы познакомились...

Василий к старикам Куксиным, как говорится, зачистил.

— Он приходил часто. Говорил, что к деду с бабкой, на самом деле ко мне... — посмеивалась Майя Семёновна.

Он пустился в ухаживания с деревенским размахом: под новый, пятьдесят третий год, приехал к ней на санях, позвал кататься. Романтика — зимняя ночь, мороз, звезды... Но он ей ничего не сказал, а она по молодости (Якутиной было двадцать два) ничего не поняла. Зато все поняла Мария Сергеевна.

— Его маме не нравилось, что он ко мне ходит. У него в то время уже была Шумская, и Мария Сергеевна уже считала ее будущей снохой. Я видела, что я ей не нравлюсь. Ей хотелось, чтобы он уже с Шумской узаконил отношения. Он придет ко мне, а она тут же появляется и посылает его то за водой, то дров нарубить, то еще чего... — рассказывала Майя Семёновна.

Василий учил ее кататься на лыжах.

— Я выросла в Ташкенте. И он решил научить меня кататься на лыжах. Не научил. Я шаг шагну — упаду, шагну — упаду. Так и забросила я... — смеется она. Летом плавали на лодке по Катунь.

Общение было ежедневным или (надо же помнить о Марии Сергеевне) почти ежедневным. Но отношения оставались на все той же нулевой точке.

— Что делали? Разговаривали. Сейчас думаю: о чем мы говорили? Но говорили почти каждый день. Вел себя очень скромно, уважительно, мы с ним полтора года почти каждый день виделись и были все время на вы... — подчеркнула Якутина. Сейчас она удивляется сама себе: «Я даже не задумывалась — чего он каждый день ходит?»

К тому же, у Якутиной имелся другой поклонник, оказывавший ей очевидные знаки внимания.

— Напротив жила Аня Гилёва, учительница литературы, я с ней подружилась. У нас была вроде как компания: Аня, ее брат Николай, Василий, я. Вот Николай явно ухаживал. За руку старался взять... — рассказывает она.

При этом технология общения с женским полом Василию была знакома. Вениамин Зяблицкий, его друг, вспоминал показательный случай из их юности. Зяблицкий был влюблен в Аню Ковалевскую, но не решался открыться: «когда девчонка нравится, робость какая-то берет». И вот сростинская молодежь собралась «на тырло» — пели, плясали, разговаривали. Веня видит Аню, думает, что же сказать. И пока мешкает, подходит Василий, говорит девушке: «Ну чо, Ньюра, пойдём...».

«Она вроде колеблется, молчит. Он взял ее под руку и увел...» — вспоминал эту горькую минуту Зяблицкий.

Что мешало Василию вот так же взять за руку и увести Майю?

Возможно, влияла и ситуация с Шумской — ведь заневестил, что люди скажут? А еще важнее — Майя для него человек



*Прокурор Сростинского района Федор Григорьевич Зверев, следователь Майя Семеновна Якутина и работник прокуратуры Пономаренко. 1952 год. Фото из фондов Всероссийского мемориального музея-заповедника В. М. Шукшина.*

с другого социального этажа. Как Руфь для Мартина Идена, любимого шукшинского литературного героя. Городская, после университета, при должности, и какой — следователь прокуратуры! Да еще в сталинские времена. Власть! Возможно, он смотрел на нее и думал: молодая девчонка, а ей судьбы вершить доверено.

— Я университет закончила, а он вообще ничего. Это на него, думаю, давило... — признает Майя Семёновна. Ее «круг общения» — зоотехник, главный бухгалтер, люди молодые, но с положением.

Да Василий наверняка понял, а после и узнал, что сердце Майи несвободно. В Государственном архиве Алтайского края я отыскал удивительный для нашей истории документ — персональное дело Майи Якутиной, разбиравшееся на бюро Сростинского райкома ВЛКСМ 29 мая 1953 года (ГААК, ф. 143, оп. 2, д. 86, л. 88). Якутина «нарушила государственную и трудовую дисциплину — уехала без разрешения прокурора в Новосибирск к знакомому». Это было



*Майя Якутина. Фото из фондов Всероссийского мемориального музея-заповедника В. М. Шукшина.*

на майские праздники. 1 мая тогда пришлось на пятницу, Якутина решила воспользоваться этим и поехала к бывшему однокурснику — Юрию Краснобаеву, распределенному после университета в Новосибирск. Можно предположить, что трех дней молодым людям оказалось мало. Поездка эта обошлась Якутиной недешево — на бюро объявили выговор с занесением в учетную карточку, что довольно серьезно по тем временам (правда, довольно скоро, в сентябре пятьдесят третьего, взыскание сняли).

Шукшин, бывавший у Якутиной почти ежедневно, не мог не знать эту историю. Более того, однажды (скорее всего, летом пятьдесят третьего) Василий зашел в избу и увидел у Майи гостя, молодого парня! «Однажды я пришел к деду (к Вам), а в горнице был молодой человек в синей рубаше...» — вспоминал Шукшин. Это был тот самый Юрий Краснобаев.

— Он его посчитал женихом. У нас, конечно, были отношения, мы могли и пожениться, но потом у нас все расстроилось... — говорит Майя Семёновна.

Шукшин сделал вид, что зашел по делу, попросил у деда Куксина пилу, ушел на берег Катуня и долго там сидел.

«Тяжело в такие минуты, но и учат они многому. Вдруг начинаешь чувствовать в себе силу — большой мир не пугает, больше того, возникает неодолимое желание идти в него и бороться...» — написал он Майе, но не тогда же, а спустя двадцать лет [Бийский вестник, 2018: 2, 32].

То есть в душе у него рождалось то, что обычно рождается в таких случаях: «Я стану великим, и она еще пожалеет!»

Если Шукшин и собирался объясниться, то, узнав о поездке в Новосибирск, а тем более увидев этого молодого человека в синей рубашке, наверняка решил, что опоздал.

В рассказе «Степкина любовь» главный герой, влюбившись в целинщицу Эллочку, приходит к ней и видит соперника.

«Прямо перед ними за столом сидел Васька Семёнов, а рядом с ним, близко — Эллочка.

Чай попивают. Васька без пиджака, в шелковой желтой рубашке, выбритый до легкого сияния. Сидит, как у себя дома, даже развалился немного».

Почему-то кажется, что эту картину Шукшин пишет с натуры — только рубашку «перекрасил». Особенно вот это, остро-неприятное «сидит, как у себя дома» — он не придумал эту иголку во влюбленное сердце, он ее помнил. Степка посрамил соперника, Васька уходит, «зло и весело» хлопнув дверью, — Шукшин взял реванш сквозь время и пространство...

— Он очень много занимался. Мы однажды с Аней и Николаем переправились на остров на Катуня, а он там сидел в кустах с каким-то учебником. Там ему, видимо, никто не мешал... — вспоминает Якутина.

В конце пятьдесят третьего года Якутина уезжала из Сросток — переводилась в Барнаул. Василий помогал ей собирать вещи.

— У меня валенки на полатах были, я туда забралась, и он туда пошел. И там меня поцеловал. Залез туда, в темноту, и там решил. Вот и все. Больше ничего не было... — рассказывала Майя Семёновна.

Провожать ее он не пришел. Видимо, предстоящая разлука, отчаянный поцелуй-объяснение, тоска-любовь, которую он носил в себе многие месяцы, выбили его из равновесия так, что он

потерял ощущение времени. «Я очухался только к середине дня, когда было поздно. Но как же было потом совестно и тяжело...» — признавался он ей спустя годы.

Майя Семёновна о его страданиях не знала и обиделась. Она уехала, он остался.

Но это еще не все! Летом пятьдесят четвертого года она получила письмо. Обратный адрес — Москва, ВГИК, Шукшин.

— В письме был только рисунок: девушка стоит, а парень на коленях тянет к ней руки. И все. Я так поняла, что это было объяснение. Он поступил, немного расхрабрился и какое-то объяснение прислал... Но я в это время уже собиралась замуж выходить и ему не ответила... — рассказывает она.

Его это ранило. Он ее не забыл. Скорее всего, любовь со временем перегорела, перекалилась, но он помнил саму историю — безответное чувство, он парень, она девчонка, но она городская, он деревенский, и эта особая немота любви, когда ты переполнен чувством так, что кажется, это невозможно не заметить, не понять — но не замечают и не понимают.

В 1972 году, в октябрьском номере журнала «Наш современник» вышел рассказ Шукшина «Страдания молодого Ваганова». Георгий Ваганов работает в районной прокуратуре. Ему приходит письмо от девушки, с которую они учились на юрфаке и в которую он был влюблен. Тогда она вроде бы не замечала этой любви, но — вот, написала! (Выходит, и правда — невозможно не заметить!) Рассказала, что была замужем, но развелась и теперь хотела бы «повидать страну — поездить». И приехать она намеревалась в деревню к Ваганову. Эту «гордую девушку с точеным лицом» Шукшин назвал Майя Якутина. Настоящая, нелитературная Майя Якутина на фотографиях именно такая — «гордая девушка с точеным лицом».

«Ваганова не оставляло навязчивое какое-то, досадное сравнение: Майя похожа на деревянную куклу, сделанную большим мастером. Но именно это, что она похожа на куколку, на изящную куколку, необъяснимым образом влекло и подсказывало, что она же — женщина, способная сварить борщ и способная подарить радость, которую больше никто не в состоянии подарить — то есть она женщина, как все женщины, но к тому же изящная, как куколка».

Куколка — что-то искусственное, бездушное. Сравнение это, по устоявшейся традиции, героине скорее не плюс, а минус. У Ваганова оно явно не от сердца, а от ума, потеряв надежду на взаимность, он так уговаривал себя: «Да что там любить, она же кукла бесчувственная!» Судя по переживаниям (страданиям), Ваганов себя не уговорил. Но уговорил ли Шукшин? Наверняка и он твердил себе: «Она же кукла!», стараясь сделать шаг от любви до ненависти, но так и не осилив его.

«Ваганов всегда знал: Майя не ему чета...» — это он написал явно о себе.

«Жалко, конечно, но... А может, и не жалко, может, это и к лучшему: получи он Майю, как дар судьбы, он скоро пошел бы с этим даром на дно. Он бы моментально стал приспособленцем: любой ценой захотел бы остаться в городе, согласился бы на роль какого-нибудь мелкого чиновника... Не привязанный, а повизгивал бы около этой Майи...» — это, с некоторыми поправками на сюжет рассказа, внутренний монолог Шукшина. Он ведь тогда, в Сростках, и правда был на перепутье — или остаться (не в городе, а в деревне, в Сростках), работать директором школы или, как ему потом предлагали, в райкоме ВЛКСМ («роль какого-нибудь мелкого чиновника»), или, как с обрыва — в Москву!

«Нет, что ни делается, все к лучшему, это верно сказано. Так Ваганов успокоил себя, когда понял окончательно, что не видать ему Майи как своих ушей. Тем и успокоился», — признается Шукшин. И тут же поправляет: «То есть, ему казалось, что успокоился. Оказывается, в таких делах не успокаиваются».

И вот — письмо. То самое, которого когда-то не дождался Шукшин. И что же делает его герой? Поначалу он хочет ответить: приезжай, жду! Но по работе разбирает «бестолковую историю неумелой жизни» деревенского работяги Павла Попова: он побил загулявшую жену, попал на пятнадцать суток, теперь жена хочет законопатить его поосновательнее, чтобы «пожить с Мишкой», а Попов готов ее простить, лишь бы не разводиться, потому что и жить тогда негде, и детей жаль, и «не сдюжить мне на стороне, сопьюсь».

Ваганов вдруг примеряет эту историю на себя. Это странно — все же Ваганов не деревенский пьяница, и Майя не продавщица сельпо, что уж тут примерять. Майя — любовь, ты ждал ее — она

пришла. Пришла любовь — отворяй ворота. Любить надо, а Ваганову не хочется. Он ищет спасительные отговорки, говорит себе, что Майя «такая же, в сущности, профессиональная потребительница, эгоистка, только одна действует тупо, просто, а другая умеет и имеет к тому неизмеримо больше». Откуда Ваганов все это взял — он ведь, в сущности, не знает Майю и ее историю. Объяснение простое: Ваганов боится. Он понимает, что трусит, ругает себя, но не может пересилить свой страх. Снова встречается с Поповым, рассказывает ему про Майю и признается: «Люблю эту женщину, а связываться с ней боюсь». Павел говорит на это: «С той стороны, с женской, ждать нечего. Баба она и есть баба». «Но есть же нормальные семьи...» — вроде бы спорит Ваганов, но, к его облегчению, Попов отвечает: «Да где?! Притворяются. Сор не выносят».

Эта первобытная простота в объяснении целого космоса взаимоотношений устраивает Ваганова, с ней он получается не трус, а разумный человек, принявший взвешенное решение. По инерции он еще идет на почту, пишет телеграмму «Приезжай», но не отправляет. Страница закрыта. Ваганов сдал любовь в архив.

Шукшин на историю и героев смотрит немного насмешливо. Это видно уже из названия — «Страдания», тут, с одной стороны Гете, с его «Страданиями юного Вертера», с другой — русские народные страдания-частушки. История Павла Попова и его жены вполне частушечная. А вот несбывшаяся любовь Ваганова и Майи — это трагедия. Вертер выстрелил себе в голову над правым глазом. «И ведь как врать научился! Глазом не моргнул...» — думает о себе Ваганов, сказав телеграфистке, что забыл адрес. Вертеру любовная история стоила жизни. Ваганову она тоже будет стоить жизни — ведь какая жизнь с дыркой вместо сердца? Если он побоялся любить сейчас — осмелится ли в следующий раз?

Если разглядывать историю под лупой, то становится видно вот что: Ваганов смотрит на Майю чужими глазами. Вот она вышла замуж за перспективного физика: «Все решили: ну да, хорошенькая, да еще и с расчетом». Кто эти — все? Почему — с расчетом? Или перспективных физиков любить не положено? Ваганов не задавал эти вопросы ни тогда, в университете, не задает и сейчас, когда Попов, симпатичный, но изверившийся человек, как туберкулезную кровь, переливает в душу Ваганова свой беспросвет. Сам того не понимая,



Ваганов наполняет образ Майи набором обычных в любое время банальностей. Но если Майя и правда расчетливая кукла, она бы поменяла перспективного физика на перспективного лирика. Она же пишет ему, прокурору в деревне, в советское время работа хлопотная и неденежная. Он явно ее последняя надежда. Промолчать в ответ — нанести удар. Ваганов понимает это. Но — молчит. Письмо Майи упало в пустоту — как когда-то упало в пустоту письмо Шукшина. Жизнь зарифмовалась. Был ли это расчет Шукшина со своим прошлым?

Спустя время после выхода в свет, рассказ прочитал кто-то из знавших Якутину людей.

— Моей сестре звонит ее знакомая и говорит: «Твоя сестра Шукшина не знала?» Та говорит: «Знала. А что?» Вот так я узнала о рассказе. Прочитала сама. Майя Якутина, еще и юрист. У меня были приятели, которые говорили: «Чего это он о тебе так написал? Да я бы...» Они меня подзадорили. И я ему написала письмо. Написала, что не поняла, почему этот рассказ так написан. Если это обо мне, то это неправда. А если не обо мне, просто литературный образ, то зачем было использовать мою фамилию? Отправила на «Мосфильм». А он был на съемках, и со студии письмо переправили на съемки. И уже оттуда он мне прислал ответ...

«Вы задержались с ответом... на 20 лет...» — написал он ей. То есть он помнил тот свой листок с рисунком, это объяснение, оставшееся безответным.

«Ради бога, выбросьте из головы этот рассказ — это не вы (я, кстати, думал, что Вы давно — лет 20 уже — не Якутина)», — пишет он.

Извинился за невольную (или вольную?) шутку с ее судьбой: «Если уж это проступок, то вовсе безобидный. Даже не мелкое хулиганство, правда. Уж чего-чего, а обидеть Вас я никак не хотел» [Бийский вестник, 2018: 2, 30].

Он расспрашивает ее о жизни, просит написать. Она ответила, рассказала о своей жизни — вышла замуж, родились сын и дочь, но муж умер. Сходство ее судьбы с судьбой сестры Натальи поразило Шукшина: «Я почему-то думал, что Ваша жизнь сложится удачно. Не знаю, на чем я строил свои убеждения, но был убежден, что у Вас все хорошо. На том, наверное, строил, что тогда,

в Сростках, заметил у Вас одну черту: чрезмерную серьезность. Я думал, что с этим-то всегда живут хорошо...» — пишет он ей [Бийский вестник 2018: 2, 31].

Он в это время на съемках картины «Они сражались за Родину». Майя Семеновна написала ему одно письмо, другое. И тут пронеслось — Шукшин умер. «Я думала, что ответа не будет...» — говорит она. И вдруг — письмо. Он написал его 27 сентября.

«Зря Вы не соглашаетесь с тем, что мы пробежали только половину дистанции. Вы как хотите, а я буду считать, что нам еще жить да жить. Словом, я не сдаюсь...» — пишет он [Бийский вестник, 2018: 2, 32].

Потом от него пришла еще книга рассказов «Беседы при ясной луне» с рассказом «Страдания молодого Ваганова», на котором Шукшин написал: «Еще раз подтверждаю, что Майя Якутина никакого отношения к этому рассказу не имеет». Тут он, конечно, схитрил — имеет. Юношеская любовь плавит душу при высочайших температуре и давлении. Чувства кристаллизуются. И «Страдания молодого Ваганова» — один из таких кристаллов.

У Шукшина в «Калине красной» есть женщина-следователь (ее играет Жанна Прохоренко). На мой вопрос Майя Семёновна согласилась, что какие-то ее черты в этом образе есть. Егор Прокудин все никак не может найти верный тон в общении с ней — и Василий так и не нашел верный тон в общении с Майей. Тут, конечно, не о любви речь — о простом понимании. Люди, вроде, и рядом — а между ними словно стена из бронестекла.

Летом семьдесят четвертого едва не замкнулся круг еще одного сюжета: в милиции Волгограда тогда служил подполковник Юрий Краснобаев, тот самый «молодой человек в синей рубашке», которого Шукшин когда-то посчитал женихом Майи. Краснобаев с сослуживцами собирались пригласить Шукшина выступить, но — не успели.

Майя Семёновна на момент нашего разговора (сентябрь 2018 года) жила в Ташкенте. Дети выросли, внуки, уже и правнуков семеро. Ухаживала за тяжело больной сестрой. На жизнь не жаловалась. Сказала, что единственная беда — зрение. Оно ухудшалось так, что Майя Семёновна не могла перейти улицу — просила кого-то перевести. Я пожелал ей долгих лет. Она ответила, что ее мама дожила до девяноста восьми.



Андрей Машанов

Боян. Из серии «Древнерусские мастера». 1998

Бумага, офорт. Офорт. 62x50